

ПАМЯТЬ

К 145-летию Максима Горького

ИВАН КУЗЬМИЧЁВ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ М. ГОРЬКОГО

Главы из документальной повести

I

Тессельский отшельник

Утром 5 мая 1936 года Алексей Максимович сидел, нахохлившись, за большим столом в угловой комнате своей крымской дачи Тессели и писал Сергееву-Ценскому. Нездоровилось. Ныло правое плечо от ключицы до локтя, ломило коленные суставы, трудно дышалось. Ночью спал плохо: мешали ветер и море, которое непрерывно болтало какую-то чепуху.

“А противненькая и капризная штука – этот ваш Крым, – выводил он, склонив голову, твёрдым округлым почерком, – туман и ветер, жара и холод – всё в один день. И для того, чтобы прилично дышать, надобно иметь в доме кислород, подушки, а они прорезинены, от них запах собачьего хвоста”. Глянул с неприязнью на подушки, горкой лежавшие у противоположной стены возле камина, усмехнулся в рыжие усы и добавил: “Кажется, летом уеду на Шпицберген, буду питаться там жареным моржом и лизать айсберги”.

Пожелав Сергею Николаевичу здоровья и посоветовав “не сердиться на жизнь”, он подосадовал на свою привычку к поучениям, но вычёркивать написанное не стал, прошёлся по кабинету, однако досада на себя, на солнце, на весь белый свет не проходила.

Алексей Максимович остановился у широкого окна, привычно запахнул на груди бухарский халат и стал задумчиво смотреть в парк, на дорожку, которая серой змейкой сползала по зелени, по цветам к самому морю. Ветер неугомонно раскачивал высокие, прозрачные на солнце сосны, клонил вершины могучих дубов, перебирал разлапистые ветви побуревшей от старости пихты. Жались друг к другу на ветру тёмно-зелёные, почти чёрные, кипарисы, серебрились внизу у пруда поваленные ещё в прошлую бурю два огромных платана, сгибалась до земли прибрежная бамбуковая поросль, метровые

КУЗЬМИЧЁВ Иван Кириллович родился в 1923 г. в Нижегородской области. Доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, участник Великой Отечественной войны, автор многих книг. Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

буруны накатывались на берег и, нехотя отступая, увлекали за собою в пучину что ни попада.

Поддерживая левой ладонью локоть правой руки, Горький кашлял, горбился, хмурился, но вдруг лицо его озарилось: под окном на ветке сирени качался чёрный, как смоль, желтоклювый дрозд. Поводя глянцевитой головкой, он доверчиво поглядывал одним глазком на человека. Это был старый знакомый. С весны почти каждое утро, стоило Горькому показаться у окна, откуда ни возьмись появлялась эта пичужка, минуту-другую раскачивалась на кусте и растворялась в буйной зелени. Алексей Максимович не раз пытался привлечь птичку каким-нибудь лакомством, но она не обращала внимания на приманку.

Писатель дивился независимости маленькой пташки. Он уже не помнил того времени, когда люди относились к нему бескорыстно. Всегда от него чего-то ждут: нового произведения, умного разговора, мудрого совета, помощи в публикациях, похвалы рукописи, отзыва на книгу, заступничества от властей, дачи, квартиры, путёвки... Всех надо ободрить, обласкать, поддерживать, утешить. На лицо его внезапно набежала тень, нос сморщился, усы скосило: из глубин памяти не к месту всплыл Лука в москвинском обличье.

Алексей Максимович сжился с ролью сердобольного благодетеля, как с домашними шлёпанцами, и приучил себя к мысли находить в этом нравственное удовлетворение. Привычка помогать людям стала его второй натурой. На советы и поучения он не жалел ни времени, ни сил, видел в этом свой долг и исполнял его с кержацкой истовостью. Одних только писем им было послано разным людям больше двадцати тысяч.

Но всё же, когда писатель вернулся из Италии, на него обрушился такой поток страждущих, что даже его выносливая натура не выдерживала. Пётр Петрович Крючков, секретарь его и распорядитель, немало потрудился, чтобы унять этот поток, и в своём предприятии преуспел. Вскоре двери особняка на Малой Никитской и на подмосковной даче стали открываться редко и лишь по особому уведомлению.

Однако не так-то просто было отгородиться от шумной столицы, да и здоровье требовало большего уединения и тёплого климата. Задумались в Кремле о постоянной даче на юге. Сталин тогда ни в чём не отказывал художнику (Горький в стране один!) и поручил его сыну Максиму найти такое место в Крыму, где бы Алексей Максимович мог спокойно жить и работать.

На юг Максим отправился вместе со своей женой Надеждой Алексеевной и в Ялте вспомнил про Форос, имение Ушкова, родственника жены Ф. И. Шаляпина, где Горький когда-то писал биографию певца. В Форосе, куда приехали Пешковы, было многолюдно и шумно, а во дворце размещался санаторий. Кто-то из отдыхающих указал Пешковым на филиал санатория, расположенный неподалёку, между Форосом и мысом Сарыч.

Через полчаса пешего хода молодые люди оказались в небольшой дачной усадьбе с одноэтажным незатейливым домиком из грубо отёсанного серого камня, увитым глициниями. Почти отвесная скалистая стена защищала усадьбу от северных ветров. Запущенные старинные аллеи, родничок с живительной прохладной водой, заросший пруд внизу, в ложбинке, близкое ласковое море и покой очаровали Максима и Надежду Алексеевну. Недаром усадьба называлась Тессели, что в переводе с греческого означало "тишина". Некогда она принадлежала Раевским, и здесь, говорят, бывал сам Пушкин. Они решили, что это место понравится Алексею Максимовичу и, в общем, не ошиблись.

За сказочный по тем временам срок к дому была сделана пристройка для гостей и приезжих и другие помещения. В конце октября 1932 года Горький с Максимом и его семьёй поселился в Тессели. Оглядывая окружающий пейзаж, он с восхищением говорил одному из первых гостей, давней своей приятельнице Валентине Ходасевич:

— Видите, какая красота у нас в Крыму — не хуже Италии!

Однако старый непоседа не прожил на новой даче и семи-восьми недель, возвратился в Москву. Не задержался он тут и во второй приезд (сентябрь—декабрь 1934 года), и в третий (апрель—июнь 1935-го), а теперь застрял, и вот уже восьмой месяц живет он здесь безвыездно, почти в полном одиночестве.

Гости заглядывают сюда сейчас редко и, как правило, ненадолго, да и хозяин, против обыкновения, никого не задерживает. Что же случилось

с писателем, для которого в прежние годы гости были не только не в тягость, а представляли своего рода домашнюю необходимость? И если в них по какой-то причине возникал перебой, то он их откровенно заманивал, как это им и было проделано в последний раз со Всеволодом Ивановым и его молодой женой Тамарой Владимировной...

Алексей Максимович неохотно отошёл от окна и остановился перед письменным столом, покрытым тёмным сукном, на котором в привычном порядке лежали коробка разноцветных карандашей, чернильница с ручкой, листы так и не оконченной рукописи "Жизни Клима Самгина" и коричневый кусок отполированного морем дерева, похожий на изработанную старческую руку.

Садиться за стол Алексею Максимовичу определённо не хотелось. Чтобы оттянуть неизбежную минуту, он затеял сам с собой игру и ничего лучшего не придумал, как попытаться силой своего воображения увидеть себя на своём рабочем месте. Из этого фокуса, разумеется, ничего не вышло: кресло оставалось пустым. Зато совершенно неожиданно вырисовывалась, и это он видел уголком глаза, сидевшая сбоку квадратная фигура Маршака, гостившего в Тессели вместе с Ивановыми и Алексеем Дмитриевичем Сперанским и с ними же уехавшего (это он отлично помнил) ещё в начале или середине февраля. Это были его последние гости, по-домашнему входившие в семейный круг.

Нельзя сказать, чтобы на сей раз Алексей Максимович вёл себя со своими гостями безупречно. Много лет спустя Тамара Владимировна Иванова вспомнит, что Горький "был явно чем-то огорчен, что-то его угнетало. Вероятно, — предполагает она, — его тревожили какие-то мысли, которыми он не хотел или не мог поделиться".

Предположение Тамары Владимировны было близко к реальности. Приглашая Ивановых, Горький намеревался обсудить со Всеволодом Вячеславовичем некоторые тревожащие его вопросы литературной жизни и даже писал ему, но при появлении Маршака от этого отказался, а своей озабоченности скрыть не сумел.

Видя угнетённое состояние хозяина и желая развлечь его, Самуил Яковлевич придумал игру: Тессели — Байдарская республика, Горький — президент, Маршак — министр просвещения, Сперанский — министр здравоохранения, Тамара — военный министр, а Всеволод Иванов — главный жрец. "Однако, — свидетельствует Тамара Владимировна, — Алексей Максимович игры этой не принял, что было странным и удивительным для всех нас. Ведь он всегда любил "театр для себя".

Неожиданное появление Маршака за письменным столом не столько удивило, сколько рассердило Алексея Максимовича. Он редко кого приглашал в кабинет и не позволял приближаться к письменному столу, отводил от него, как птица от гнезда, своих посетителей. Беседовал с гостями и приезжими, как правило, в библиотеке или столовой.

Недобро ощерившись, Алексей Максимович повернулся, чтобы устроить нарушителю порядка выговор, но выговаривать было некому. На месте, где сидел Маршак, стоял стул с накинутым на его спинку тёмно-голубым пуловером.

— Чертовка драповая! — в сердцах проворчал Алексей Максимович.

Это уже относилось к Липочке, Олимпиаде Дмитриевне, повесившей на стул пуловер на случай, если Алексею Максимовичу покажется холодно. Она строго и неотступно следила за его здоровьем, вот уже в течение семи или восьми лет управляя всем домом.

Чуть прихрамывая, Алексей Максимович прошёлся по ковровой дорожке. Сердитая гримаса не сходила с его лица, но он ещё не терял надежды обрести равновесие, сесть за письменный стол и заняться Самгиным, которого оставил вчера у решётки Таврического сада. Как ни странно, но он сблизился со своим несимпатичным героем. Воссоздавая через него живые картины вздыбленной войной и революцией России, он на это время напрочь отключался от повседневности и поднимался на такую высоту интеллектуального плоскогорья, с которой, как ему казалось, вырисовывались контуры будущего.

Желаемое равновесие, необходимое для творческой работы, однако, не приходило. Алексей Максимович опустился в кресло возле камина, разворошил железным прутом покрытые пеплом угли, подбросил в камин несколько кленовых полешек и стал смотреть, как вспыхнувший из ничего огонёк цепко и разом охватил подброшенные поленья и, угрожающе ворча, стал пожирать их.

Глядя на игру огненного зверька, запертого в каминной клетке, Алексей Максимович подумал, что, пожалуй, не признался бы даже под пыткой в своём колдовском даре провидения: он ненавидел всякого рода кассандр. Но именно это его свойство художественного видения было скрытой пружиной всей его бурной литературно-общественной деятельности. Он не сомневался в её необходимости, ибо твёрдо знал верное направление движения человечества к справедливости и прогрессу и ценил себя в этом качестве выше Толстого и Достоевского. Втайне он ревновал к их славе и порой вольно или невольно выдавал себя, как это, похоже, случилось в беседе с Роменом Ролланом в Горках перед отъездом гостя из Москвы. Без особой связи, так, к слову, Горький стал убеждать своего собеседника, что влияние Толстого в России было не столь велико, как принято думать.

Гость внимательно и вежливо выслушал рассуждения хозяина и о Толстом, и о Достоевском, не возражал, но очень деликатно перевёл разговор на тему о его, Горького, контактах с читателем. Алексей Максимович смутился, беспомощно развёл руками, но в сердце его кольнуло. Роллан, верно, не догадался, какую больную струну задел он у своего старого товарища. Не читатели беспокоили Горького и не кремлёвские вожди (с некоторых пор он знал им цену), а братья по ремеслу – писатели.

Несмотря на энергичные протесты Горького, писатели неистовствовали на съезде в августе 1934 года: “великий”, “величайший”, “выдающийся”, “дорогой”, “любимый”, “как учит...”, “как сказал...”, “во главе с Горьким это звучит гордо” и т. д. и норовили упомянуть его имя рядом со Сталиным, но спустя некоторое время после съезда, словно по команде, затихли.

Горький не знал причин столь резкой перемены в настроениях, но заметил, что если раньше его имя по поводу и без повода ежедневно склонялось в прессе, то вот уже года полтора или около того, как оно практически исчезло со страниц периодической печати. К примеру, в передовице последнего номера “Литературной газеты”, посвящённой укреплению связей писателей с газетой, говорится о роли Сталина, Калинина, Маяковского, Демьяна Бедного, но его, Горького, не нашлось повода упомянуть. Горький не удивился, ибо и в других случаях, шла ли речь о критике, поэзии, драматургии или литературе на антифашистскую тему, о нём забывали. Не находилось повода и тогда, когда отмечались юбилеи Добролюбова, Белинского. Маяковского, Чехова, Романа Роллана, Поля Верлена и даже Льва Толстого.

Горький числился председателем комиссии по проведению 25-летней годовщины со дня смерти Л. Н. Толстого и, признаётся, был озадачен, когда в юбилейном номере “Литературной газеты” не нашёл на себя ни одной ссылки. Зато была перепечатана старая карикатура Штейна из “Искры” за 1902 год “Как посеяли Акима, а вырос Лука”. Он не считал её остроумной.

Но особенно Горького задел январский номер “Литературной газеты”, посвящённый Ленину. Среди разного материала, в том числе и старой речи Сталина “По поводу смерти Ленина”, был опубликован перечень книг “Ленин в художественной литературе”, включающий в себя около сотни авторов, от Акопяна до Эули. Горького в списке не оказалось.

По существу, не складывались у него отношения и с верхушкой Союза писателей. Руководящие деятели всячески раздували несуществующие успехи советской литературы, а Горький приходил в отчаяние от лени, небрежности, интеллектуальной и эмоциональной безграмотности большинства литераторов. Произведения, им осуждаемые, почему-то поднимались на щит, а те, которые он одобрял, подвергались критике. Так, “Голубая книга” М. Зощенко показалась Горькому значительной и интересной, а в “Правде” её назвали “копилкой исторических анекдотов на потребу обывательской пошлости”. Почти все его советы и рекомендации, устные или письменные, замалчивались, уходили в песок. Не получила отклика и его последняя статья о формализме.

Горький чувствовал, как вокруг него образовалась своего рода глухая стена непонимания, которая имела тенденцию к расширению. С переездом в Крым ощущение одиночества усилилось и обрело такие масштабы, каких он не знал, когда жил в Италии. Самое же тягостное – ему не с кем было поделиться своими заботами. Не будь языкового барьера, он, наверное, тогда, в Горках, нашёл бы у Роллана помощь и утешение, но в присутствии третьего лица не решился на такие откровения, как не смог заговорить и здесь, в Крыму, со Всеволодом Ивановым.

Старый писатель обычно не сетовал на свою судьбу, как бы трудно ему ни было. Но в эту зиму в его письмах иногда прорывались жалостливые нотки: “А я чувствую себя живущим в ссылке...” (ноябрь 1935). Чуть позже он признается Ромену Роллану, что, подобно А. П. Чехову, тяготится своим заточением в Крыму. “У Вас слякотно? – спрашивает он Всеволода Иванова в письме из Тессели 10 января 1936 года. – То же самое началось и здесь: туман, дождь, никакого моря нет, а просто в небольшом пространстве, плотно замкнутом серым киселем, натканы мокрые деревья, мокрые камни, среди них мокрый дом, в одной из его комнат сидит угрюмый усатый старик... он кашляет, курит и пишет Вам длиннущее письмо”.

От ощущения одиночества на сей раз не могли избавить писателя и его гости. Ещё меньше этому способствовали “визитёры”, как их называла Липочка, подобные Минцу или Кольцову. Михаил Кольцов как-то привёз с собою Андре Мольро с братом, свою жену, Бабея и вывел из равновесия Алексея Максимовича дня на три.

Огонь в камине меж тем закончил своё дело и набросил на каминную решётку вышитое тончайшим серебром покрывало. Поначалу оно алело изнутри и отражалось на бледном лице Алексея Максимовича красноватыми бликами, но потом стало темнеть. Тень надвигалась и на Горького, который как-то разом грузно осел в кресле, склонил голову, глубоко и надолго задумался. Надо было что-то предпринять, чтобы преодолеть зону непонимания. Он не знал, что жить ему осталось сорок пять дней.

II

Возвращение

Над Алексеем Максимовичем, навзничь лежавшим на диване спального купе, внезапно завис огромный бычий рог. Старый писатель всматривался в странный предмет с недоумением и любопытством. Крепко ввинченный в волосатый череп рог угрожающе покачивался, готовый в любой миг опрокинуться и поддеть под пах.

Алексей Максимович просчитал, что быка можно остановить, если схватить в клещи за влажные ноздри, но тотчас почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, и ему стало не по себе, сердце сжалось, дыхание перехватило, побелевшее лицо покрылось потом. Состав дёрнулся, и от толчка бык вздрогнул, отшатнулся назад и в сторону, а писатель очнулся и долго не мог прийти себя.

Нечто подобное случилось с Алексеем Максимовичем лет сорок пять назад, когда он целое лето пробирался из Царицына в Нижний. Он шёл пешком через Сальские степи, а часть пути, по ночам, ехал с кондукторами на тормозных площадках товарняков. От Москвы – целых тридцать четыре часа – провёл в скотском вагоне, в обществе восьми черкасских быков, которых везли на Нижегородскую ярмарку, на бойню. Пятеро из них вели себя солидно, но остальным новый пассажир чем-то не понравился, и они всю дорогу старались причинить ему различные неприятности. Особенно неуёмен был один, со сломанным рогом. Он всё пытался оттеснить человека в угол и повалить на грязный, запачканный помёт пол.

Тогда Алексей Максимович был молод, силён, умел ладить со всяким скотом и, как ему казалось, никого и ничего не боялся: ни Бога, ни царя, ни людей, ни зверей, ни революции, ни контрреволюции. Теперь же, на склоне лет, должен был признаться хотя бы самому себе, что опасается многого: творческого и физического бессилия, одиночества, элементарной простуды. Его гложет тревога за внучек, за неоконченную повесть о Климе Самгине, за разлад с писателями и властями, за будущее России.

Между тем в купе стало почти светло. Вагон слегка покачивало на мягких подвесках, а ось немного поскрипывала и напевала какую-то очень знакомую мелодию:

- Рига-иго-иго, рига-рига-иго...
- Колеса выстукивали, дразнили:
- По-пут-чик, по-пут-чик...

Алексею Максимовичу неприятно и обидно было это поддразнивание, ибо быть попутчиком хотя бы и самого Льва Толстого – не в его правилах. Он никогда никого и никуда не сопровождал, а став знаменитым, как-то сразу оказался в окружении спутников и быстро привык к дорожным почестям. Почти каждое его перемещение по России, Европе или Америке превращалось в событие, о его переездах писали в русских и иностранных газетах, уведомляли о его появлении в Берлине, Париже, Петербурге или Москве. В последние годы при поездках по СССР на его пути вывешивались приветственные лозунги, устраивались митинги, воздвигались арки, а на московских вокзалах, случалось, встречало и Политбюро почти в полном составе и при огромном стечении народа. Но на сей раз, похоже, он и в самом деле – попутчик, да ещё тайный, если судить по той поспешности, с какой его посадили в вагон, прицепленный к хвосту пассажирского поезда № 9 Севастополь – Москва.

Он не знает, да так и не узнает теперь, что в эти самые минуты в одной из севастопольских типографий набираются строки: “26 мая, в 12 часов дня, в Севастополь прибыл с Южного берега Крыма Максим Горький. В этот же день, в 12 час. 33 мин. он выехал в Москву”. 27 мая 1936 года они будут напечатаны в местной газете “Маяк коммуны”. Составитель этих строк, видимо, счёл излишним уточнить, что прибыл писатель из Тессели, со своей дачи, где прожил безвыездно более полугода. Но это окажется последним дорожным репортажем о нём.

Чтобы отвлечься от навязчивой вагонной мелодии, Горький стал мысленно перебирать подробности вчерашних проводов, закреплять их в памяти на всякий случай. Он вспомнил, как, сидя у полузашторенного окна в одиночестве, вслушивался в шум на перроне и, постукивая пальцами по столу, с нетерпением ждал отправления поезда. Казалось, ему давно надоели заорганизованные проводы и встречи на вокзалах и пристанях, не нужные никому. Но вот стоило такому пустому делу не состояться, и старый писатель заскучал: как-никак, это была едва ли не единственная форма его общения с народом на протяжении последних лет. Ему бы выйти к публике, потолкаться среди людей, всмотреться в их лица, озорно пригласить безбилетников в свой пустующий вагон, но он не решился даже высунуться из окна, боясь быть узнанным.

... И привиделась ему, как наяву, давняя история на ялтинской набережной, в годы его далекой писательской молодости. Плотная толпа гуляющих окружила Куприна, а он, словно утопающий, беспомощно и растерянно вертел во все стороны своей татарской головой. Вдруг люди оставили Куприна и бросились к нему, Горькому, подошедшему к другому месту. Они толкали его в грудь, в спину, жали с боков, наступали на ноги, совали под нос какие-то книжки, бумажки, кричали. Пахло духами, потом, перегаром. Куприн минуту-другую смотрел, потом решительно приблизился к толпе, врезался в неё, схватил Горького за руку, выдернул его из плотного и душного человеческого кольца и увлёк за собою в ближайший переулок. Вскоре они сидели в каком-то полуподвальчике за бутылкой мадеры.

Горький много раз рассказывал этот эпизод, в том числе и Сталину, поворачивал его перед слушателями разными комическими гранями, но, похоже, только сейчас он обернулся для самого рассказчика своей серьёзной стороной. Горькому показалось, что именно тогда, на набережной, в тайниках его души поселилась неприязнь к толпе, боязнь её, страх перед нею. Это она, проклятая боязнь, заставила вчера старого человека, как мальчишку, прятаться от людей. Неожиданная догадка настолько поразила писателя, что он, забыв про боли в груди и суставах, приподнялся с дивана и, досадуя на себя, морщась от обиды, сам ещё не зная зачем, стал одеваться с не свойственной ему поспешностью.

Одеваясь, Горький успокаивал себя, что толпа – не народ, но разница между толпой и народом вырисовывалась в его сознании смутно. Зато почти физически ощущалась та незримая черта, которая отделяла писателя от людей и которую он по каким-то причинам не мог и не хотел переступить. Вот и сейчас она, эта черта, находится в двух-трёх саженьях, там, где стыкуется его персональный вагон (подарок вождя) с составом поезда.

Писатель пытался представить себе своих соседей и, к своему удивлению, не смог, так как не помнил, когда последний раз ехал в общем вагоне. Досадуя на себя, на бессилие своего воображения, он вдруг захотел пови-

даться с ними, словно это был последний случай, который может не повториться.

Подвязывая галстук, он подошёл к зеркалу, искусно встроенному в дверное полотно красного дерева и, стараясь не смотреть на свой приперчённый веснушками утиный нос, попробовал прочесть в своих глазах одобрение своего внезапного и смелого решения, но его и без того небольшие глаза сузились и уклончиво ушли вглубь. Алексей Максимович секунду-другую невидяще смотрел на свое отражение и решительно взялся за ручку двери, но острая боль, электрическим разрядом отозвавшаяся во всем теле, согнула его дугой. Он, однако, успел ухватиться за спинку кресла и, не теряя контроля над собой, стал ждать, когда отпустит боль.

Боль исчезла столь же неожиданно, как и появилась, и Алексей Максимович оказался в коридоре. Коридор был светел и пуст. За чисто промытыми окнами мелькали телеграфные столбы, поднимались и опускались провода, ленивым хороводом кружились и проплывали мимо зелёные холмы, редкие берёзовые перелески, отдалённые селения и какие-то строения неизвестного назначения. . .

Алексей Максимович с носка, как уже давно не ходил, скользнул лёгкой вороватой походкой по ворсистой ковровой дорожке в голову вагона, мимо салона, спальных купе, служебных помещений. Он не знал, как и где разместились его сопровождающие, но месторасположение Крючкова и Олимпиады Дмитриевны определил безошибочно.

Дверь к Крючкову была плотно прикрыта, но старый писатель явственно видел его спящим сном праведника. Недопитая бутылка “Московской” и пустой гранёный стакан терпеливо ждали своей минутки у изголовья секретаря на маленьком продолговатом столике. Купе Чертковой было полуоткрыто, и если бы у Алексея Максимовича было время, он разглядел бы, как его подруга в белом халате дремлет в обнимку с кислородной подушкой, предназначенной для него.

В голове вагона одно служебное помещение было закрыто, в другом, уткнувшись в сложное одеяло, дремала проводница в чёрной опрятной униформе. Рядом с ней, откинувшись на спинку дивана, спал с открытыми глазами молодой человек в полувоенной форме, должно быть, дежурный охранник. Алексей Максимович косился глаза на спящую службу, но задерживаться не стал и через полминуты оказался в рабочем тамбуре соседнего вагона.

В тамбуре было неопрятно и грязно, из уборной тянуло сыростью и вонью. Тяжело вздохнув, писатель толкнул ногою в дверь и на мгновение остановился: в нос ударил плотный, душный и кислый настой давно не мытых человеческих тел, ветхой одежды и бедности. На деревянных скамьях, на полках, на полу, в проходах сидели и лежали измождённые женщины, старики, дети, пожилые мужчины вперемежку с мешками, корзинами, самодельными некрашеными фанерными чемоданами, ящиками.

Горький буркнул что-то про себя и, перешагивая через спящих, прошёл вглубь вагона. Люди стояли во сне, ворочались, чесались, сопели, напоминая неопрятных животных. Не спали только две немолодых женщины где-то в середине вагона да старый безногий инвалид на боковой нижней полке.

Переход в следующий вагон был перекрыт, проводника на месте не оказалось, и Горькому ничего не оставалось, как возвратиться к себе. Но когда он добрался до неопрятного рабочего тамбура, выяснилось, что закрыт переход и в его персональный вагон. Чтобы не тревожить людей и не привлекать к себе внимание, он решил ждать, пока его не хватятся и не придут за ним сами.

Вернувшись в вагон, Горький добрался до женщин и попросил позволения присесть на сундучок, стоявший около них в проходе. Инвалид, сидевший наискосок, без особого интереса взглянул на него, мусоля из газетного обрывка козью ножку. Захотелось закурить и Алексею Максимовичу, но он не прихватил с собою папиросы, отчего на душе стало ещё более тоскливо и одиноко.

Прислушиваясь к тихой неторопливой беседе женщин, а говорила больше грузная смуглая хохлушка с бородавкой на щеке, Горький понял, что речь шла о голодающих казаках и украинцах. О голоде на Украине он слышал от разных людей и раньше, но не очень доверял этим слухам. С очевидцем же он встретился впервые и был рад случаю получить сведения из первых рук.

На осторожные и деликатные расспросы писателя женщина отвечала просто и бесхитростно. Горький узнал, что её родная станица вымерла почти пол-

ностью. Дело дошло до того, что некому стало хоронить. Одинокие старухи со смертных одров подползали к подоконникам своих хат да так и умирали, уставься мёртвыми глазами через окно на улицу и ожидая, кто бы их свёз на погост. Выжили немногие и те, кто вовремя уехал из станицы, кому, слава Богу, было куда ехать, как, например, её старшим детям. Их, кого куда, пристроил дядя из Нижегородской губернии.

Теперь, благодарение Господу, жизнь в станице потихоньку налаживается, и она ни за что не покинула бы родные места, если бы не станичные безбожники, которые совсем осатанели.

Женщина призналась, что она попадья, жена отца Василия, родственника знаменитого писателя Добролюбова. Сам отец Василий лет семь как умер, ещё до коллективизации, до голодухи. Его приход в голодные годы захирел, а теперь пришёл в полное запустение. Недавно местные активисты разрушили храм отца Василия, а его самого, озорства ради, выкопали из могилы, содрали крышку гроба, оторвали нос...

Женщина не выдержала надругательства над покойным мужем, схватила младшего сына Володьку (долговязый подросток лет четырнадцати спал за её спиной) да вот этот рундучок (и она приложила ладонь к сундучку, на котором сидел Алексей Максимович) – бежать куда глаза глядят. Недели две они маялись на вокзале, пока их не посадили на этот проходящий поезд. Теперь они пробираются на Керженец, где её младшая дочь служит бухгалтером в промколхозе.

Алексей Максимович полюбопытствовал, что в сундучке, на котором он так уютно устроился. Матушка, смеясь, ответила, что пустой почти, если не считать нескольких книг из библиотеки отца Василия. Что за книги? Сочинения Добролюбова? Оказывается, в библиотеке отца Василия книг его знаменитого родственника не было, а везут они сочинения Гоголя да пять-шесть разрозненных томов Большой энциклопедии.

Алексей Максимович не удержался и осторожно полюбопытствовал, не было ли в библиотеке отца Василия сочинений Максима Горького, на что матушка не задумываясь ответила, что и сочинений Максима Горького в библиотеке не было. Потом добавила, что её отец, тоже духовного звания, любил читать фельетоны Горького в “Одесских новостях” и очень огорчался, когда их не находил. “Не пишет Горький, запил, должно быть”, – сокрушался отец.

Матушка умолкла, должно быть, задумалась о чём-то своём. Задумался и Алексей Максимович: Упоминание “Одесских новостей” выдавило из его памяти не то грустную, не то смешную сцену в одесском порту, когда в мае 1933 года он окончательно возвращался из Италии в СССР на теплоходе “Жан Жорес” через Стамбул и Одессу.

В Одессе был создан общественный комитет для организации встречи М. Горького. Комитет не бездействовал, но кому-то наверху эта встреча показалась опасной или нежелательной. Одесситов ввели в заблуждение о времени прибытия писателя, а “Жана Жореса”, который пришёл почти по расписанию, пришвартовали на товарной пристани, куда обычно пристают суда, прибывшие из-за границы.

На площадке пристани, обнесённой хозяйственными постройками, тем не менее, собралось несколько десятков номенклатурных товарищей и почти столько же служебных машин.

Горький при подходе теплохода к Одессе всё время находился на капитанском мостике. Он произнёс перед этими людьми и машинами едва ли не самую пламенную речь, какую когда-либо произносил в подобных ситуациях. Но когда через день на Брянском вокзале собралось несколько тысяч москвичей, писатель не смог сказать им и двух-трёх связанных фраз. Помнится, не блеснул он красноречием и в первый приезд из Италии, в 1928 году, когда на Белорусском вокзале его, плачущего, несли к трибуне на руках по живым цветам.

Увлечись воспоминаниями, старый писатель не заметил, как к нему неслышно приблизились два молодых человека. Один из них легонько коснулся его правого плеча. Скосив глаза, Алексей Максимович узнал толстые мохнатые пальцы секретаря. Он поблагодарил женщин за приятную беседу и неспешно поднялся. В глазах собеседниц промелькнули тревога и сочувствие. Инвалид уважительно подобрал костыль, чтобы Горький мог пройти.

В сознании писателя не отложилось, как он возвращался в свой вагон, но через некоторое время он почувствовал в купе присутствие постороннего

человека и не без усилий приоткрыл глаза. Перед ним, сидящим в кресле, одетым, при галстукке, стояла Липочка, Олимпиада Дмитриевна, в нарядном опрятном фартучке поверх дорожного платья и смотрела на него тревожно и ласково. Её, должно быть, удивило, что Алексей Максимович был уже одет, когда ещё до Москвы не менее трёх часов пути. В руках она держала небольшой поднос с традиционной утренней чашечкой кофе и двумя сырыми яйцами.

Часа через три, с опозданием на 20 минут, поезд № 9 прибыл в Москву. Встречали Алексея Максимовича Екатерина Павловна, Надежда Алексеевна и Кошенков, комендант московского особняка писателя. Первой в вагон вошла Екатерина Павловна. Поздоровавшись, Алексей Максимович спросил:

– Дети приехали?

– Нет.

– Что, всё ещё больны? – с тревогой переспросил Алексей Максимович.

– Нет, они встретят тебя дома, – ответила Екатерина Павловна.

Через некоторое время по опустевшему перрону шла небольшая группа пассажиров. Впереди, в накинутом на плечи легком пальто шёл, прихрамывая и опираясь на жёлтую палку, высокий старик. За ним, сбившись в кучку и перешёптываясь, шли три женщины. Замыкал шествие молодой человек деревенского вида в полувоенной одежде. День был серый, душный и дымный.

III

Обособник на Никитской

В особняк на Малой Никитской Горький вошёл со стороны Спиридоновки, миновал прихожую, спустился в вестибюль парадного подъезда, бережно поставил свою жёлтую палку в угол гардеробного шкафа, не спеша повесил лёгкое пальто, чутко прислушиваясь ко всему, что происходит за его спиной. Внутренним оком он отчетливее, чем наяву, видел, как по широкой мраморной лестнице скатываются ему навстречу Марфа и Дарьюшка. Но было поразительно тихо. Старый человек с недоумением и даже обидой глянул через плечо, но ничего не увидел, кроме Крючкова и Екатерины Павловны, застывших в прихожей. Алексей Максимович резко повернулся, легко преодолел пологие ступени, отделявшие вестибюль-гардеробную от проходного аванзала, и направился к просвету мраморной лестницы, ведущей на второй этаж, где жила семья Максима.

– К детям нельзя. Они нездоровы, – раздался тихий, но твёрдый голос Екатерины Павловны.

Алексей Максимович словно споткнулся, застыл на месте, сник, сжался и через паузу, показавшуюся утомительно длинной, промолвил:

– В Горки – не едем!..

Крючков и Екатерина Павловна недоуменно переглянулись, а Алексей Максимович, ни на кого не глядя и не дожидаясь ответа, ушёл в свой кабинет и закрыл за собою дверь. Последнее означало, что его без особой нужды не следует беспокоить, и это правило соблюдалось. Исключение делалось только для внуков да их отца Максима, когда он был жив. Максим не злоупотреблял своей привилегией, да и внучки каким-то образом переняли у отца эту деликатность.

Нашёл себя Алексей Максимович поздним вечером, когда уже было почти темно, возле письменного стола в кресле, в котором обычно сидят посетители, впрочем, не такие частые здесь за последние полтора года. На столе среди обычных вещей стоял поднос, накрытый салфеткой. Писатель не сразу понял предназначение постороннего предмета, пока не сообразил, что это какая-то еда, поданная ему вместо обеда и ужина, которые он проспал. Должно быть, это забота Липочки, но Олимпиада Дмитриевна должна бы знать, что он терпеть не может на своём рабочем столе ничего лишнего, тем более подноса с едой. Для него письменный стол – это алтарь, своего рода жертвенник, где царит бытие, а не быт, и он должен содержаться в чистоте и опрятности.

Конечно, минувшие сутки – особенные. Переезд из Крыма в Москву сломал устоявшийся порядок и даже его, старого человека, выбил из колеи и толкнул на неожиданное решение отказаться от немедленного переезда на

дачу, в Горки, где готовились, ждали, и остаться там, где его не только не ждут, но и считают его пребывание нежелательным, опасным для его здоровья из-за внучек, которые гриппуют. Всё это трогательно, но очень уж надоело, когда за него, без него, хотя и ради него, рассчитывают каждый его шаг, лишают воли, держат на привязи, толкают в рот готовенькое, точно гусю, предназначенному на откорм. А того не возьмут в толк, что одинокая его душа истосковалась по девчонкам, единственному, что ещё связывает его кровно, напрямую с действительностью, с жизнью. Ему бы, может быть, хватило бы лишь того, чтобы взглянуть на них, не переступая порога детской комнаты. Из полуприкрытых глаз писателя, всё ещё сидевшего в кресле возле письменного стола, скатилась слезинка и стала плутать по шершавой, изрытой морщинами щеке. Вспомнились чьи-то слова, кажется, Розанова: “Я не плыву, меня несёт”, – а его, Горького, – несут, иногда – везут или ведут. Писатель приметил, что когда он и его спутники, желая избавиться от любопытной привокзальной толпы, торопливо усаживались в открытый американский лимузин (подарок вождя), людей интересовали не столько пассажиры, сколько их роскошный автомобиль. Это его немного задело. Но он серьёзно встревожился, когда, выпутавшись из мешанины повозок, грузовиков, “козлов” с брезентовым верхом, лимузин вырулил на Малую Никитскую и на приличной скорости помчался к боком стоявшему особняку, который теперь называют “домом Горького”. Алексею Максимовичу показалось, что слоновьи ноги массивного парадного крыльца, глыбой повисшего над тротуаром, вот-вот сдвинутся с места и шагнут им навстречу. Но всё обошлось. “Линкольн”, пугая и тесня прохожих, прошёл мимо парадного, не без лихости свернул на Спиридоновку и притормозил у боковой калитки особняка.

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Алексей Максимович поспешнее, чем следовало и чем позволяли ему его собственные возможности, покинул машину. Забыв поблагодарить водителя и даже не взглянув в его сторону (за что ему до сих пор было стыдно!), Горький шагнул за калитку и по мимо своей воли остановился. Дом, который он не любил, который называл нелепым, был рад его приезду и не скрывал своей радости. Старому писателю показалось, и он готов был в этом побожиться, что у дома в знак приветствия дрогнули широкие, далеко выступающие вперёд плоские бетонные карнизы, точно ресницы заволжской красавицы с рисунка Боклевского.

Горький и раньше подолгу простаивал перед спиридоновским фасадом особняка, вслушивался в жёсткие, рваные ритмы горизонтальных и вертикальных линий, всматривался в загадочную ассиметрию окон, то узких, устремлённых ввысь, то приземлённых и необыкновенно широких, готовых поглотить весь белый свет. Но, кажется, он только теперь понял, что западная, спиридоновская сторона дома как бы смягчает, приглушает, уравнивает бесцеремонное вторжение особняка в традиционно-аристократический уклад Малой Спиридоновки и всего Скородома. В лицевом фасаде, особенно в лобовой его части, в крыльце, было что-то грубое, излишне плотское, тевтонское, тогда как западный фасад олицетворял собою возвышенное, духовное, жизнетворческое начало. Это как-то примиряло особняк с скородомской традицией, делало его существование возможным и даже по-своему необходимым, превращало его в изюминку одного из самых дорогих сердцу Горького уголков старой Москвы.

Алексей Максимович и в самом деле любил этот московский уголок, любил давно, ещё с молодости, когда навещал тут Савву Морозова. Но только сейчас его осенило, что и это место, и этот нелепый дом и есть его настоящая духовная родина. Сделав для себя такое простое и неожиданное открытие, Горький ощутил вдруг необыкновенное облегчение, словно Одиссей, приставший после долгих странствий к своей Итаке. И когда через минуту-другую он входил в дом через западное крыльцо, то едва ли не впервые почувствовал себя не постояльцем, а хозяином.

Алексей Максимович встал с кресла, включил свет, переоделся в домашнее, побрился, как делал это обычно накануне нового рабочего дня, что-то неохотно пожевал с подноса, выпил лимонный сок, с наслаждением закурил и принялся за правку рукописи для журнала “Колхозник”. То была чья-то небольшая охотничья повесть и стихотворный рассказ колхозного сторожа, написанный Михаилом Исаковским. Рукописи оказались удачными и не особенно утомили его.

Было уже за полночь, но спать не хотелось. Алексей Максимович, покашливая и не выпуская из рук сигары, прошёлся по кабинету. Он знал, что у прежнего владельца особняка Степана Павловича Рябушинского здесь был мужской кабинет, но не совсем представлял себе обстановку этого кабинета и его предназначение, так как у хозяина тут же, за лестницей, находилась рабочая комната. Зато обстановка его собственного кабинета – и стол, и кресло, и журнальный столик, и шкафчики с китайской и японской пластикой, вплоть до копии Александра Корина с “Мадонны Литты” Леонардо да Винчи и панорамы Неополитанского залива Павла Корина – вписалась в интерьер комнаты на удивление органично. Кажется, всем этим предметам ещё никогда и нигде не было так покойно и уютно. Даже грубый ящик с садовым инструментом, который Горький повсюду таскал за собой, чувствовал себя на широком мраморном подоконнике, как дома.

По сути, у Горького не было своего жилища, вечно он скитался по чужим углам и квартирам. В его родном Нижнем, по подсчётам Хитровского, было до сорока “горьковских мест”. Впрочем, бездомностью русских писателей не удивишь, стоит лишь вспомнить Гоголя. Самый домовитый писатель – Лев Толстой, но и он в последние дни своей жизни покинул Ясную Поляну. После Октябрьской революции почти треть русских писателей оказалась в эмиграции, вдали отчего крова.

Корней Чуковский как-то сострил по поводу переименования Нижнего Новгорода в город Горький:

– Беда с русскими писателями: одного зовут Михаил Голодный, другого – Бедный, третьего – Приблудный – вот и называй их именами города. . .

Но озадачило Алексея Максимовича другое. Русские писатели словно кичились своей бездомностью и на все лады воспевали свою неприкаянность и неустроенность своих героев. И, кажется, всех усерднее этим занимался сам Максим Горький. Его Нил из пьесы “Мещане” с отвращением покидает дом своего приёмного отца Василия Бессеменова, а родные дети старика только и ждут случая, чтобы сделать то же самое. В доме деда Каширина с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами Алёше Пешкову тесно, душно, тошно, темно и страшно. Туда, точно в яму, стекается вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою и злобой, снова изливается в город. Пешков-Горький бежит из дома, из города, из России, бегут и его герои. Клим Самгин, этот бродяга-интеллигент, получает в наследство от умершей жены Варвары московский дом, но он через Дронова продаёт его и возвращается в Петербург, где у него нет ничего и никого.

Когда Алексею Максимовичу подарили особняк Рябушинского и дачу под Москвой, он чуть ли не до сегодняшнего дня всячески демонстрировал неприязнь к ни в чём не повинному дому, подчёркивал к месту и не к месту, что дом принадлежит не ему, а Моссовету, что он тут не хозяин. Зачем? Почему?

Алексею Максимовичу припомнилось, что однажды, приехав к нему, Сталин затеял игру, выясняя, кто здесь хозяин – Горький или Крючков? Горький тогда как-то вяло прореагировал на настырную попытку Сталина выяснить, кто хозяйничает в Горках и особняке Рябушинского, не принял игры и, судя по всему, зря. Это была тема.

Конечно, сама постановка вопроса – Горький или Крючков – заключала в себе оскорбительный для писателя смысл. Но это только один срез проблемы. Крючков мог бы предложить свой вариант ответа: хозяин – товарищ Сталин. Вряд ли бы умный Иосиф Виссарионович клюнул на эту грубую лесть, хотя он был и в самом деле хозяином, и Горький не кривил душой, когда публично называл его так. Но понимал ли Сталин, что подлинным хозяином он станет только тогда, когда каждый в его стране в своём деле и на своём месте будет хозяином? Этот вопрос стоил того, чтобы подхватить предложенную Сталиным игру в “хозяина”.

Горький не взялся бы предсказать реакцию Сталина на поставленный вопрос, но он твёрдо знал, что российские и советские литераторы в большинстве своём решали проблему хозяина на примитивном, допотопном уровне, в том духе, как она трактуется в его старой пьесе “Враги”: хозяин – добрый или злой, хороший или плохой, всё равно – хозяин, то есть кровопийца. Сами того не зная, они воспеывали в своих читателях антихозяинские настроения.

Плоско, примитивно это представление о хозяине, но оно живо. Горький невесело усмехнулся, вспомнив, как не очень давно здесь, на Никитской,

оказался старый его знакомый — казанский булочник Семёнов. Он хотел выдаться со своим бывшим подручным. Но Горький отказал ему во встрече, не захотел побеседовать со стариком хотя бы из любопытства.

С домом у либеральных российских литераторов ассоциировалось не только представление о домовладельце, хозяине, но и о быте. Быта боялись. От него спасались, преимущественно — бегством. Но голым не побежишь. И какая, в конце концов, разница, если одни, как Горький, тащили за собою домочадцев, приживальщиков, слуг, книги, коллекции, а другие — грязную наволочку, набитую рукописями, как Хлебников. Случалось, столкновение с бытом разрешалось трагически — самоубийством, как поступили Есенин и Маяковский.

Правда, не все русские писатели пребывали в бегах. Чехов жил в Мелихове и Ялте и ещё, по слухам, прикупил два или три участка под дачи. Прочно осел в Коктебеле Максимилиан Волошин, этот, казалось бы, самый бесшабашный из всех декадентов поэт, приютивший у себя многих бездомных литераторов. Застрял в Старом Крыму, в какой-то крошечной мазанке вечный скиталец Александр Грин. Быть бы добрым соседом Волошина Ивану Шмелеву, если бы красные ни за что, ни про что не расстреляли в Феодосии его больного сына. Сам Горький одно время подумывал построить себе дом в Нижнем Новгороде и позднее серьёзно присматривался к волошинской затее, но его волею судеб качнуло на Запад, к которому он, как греха таить, питал некоторую слабость. В конце концов, нет ничего дурного в том, что и нынешние московские писатели стали обустраиваться на Сетуни, в Переделкине. Бегством с бытом не справиться.

Степан Павлович Рябушинский и архитектор особняка Фёдор Осипович Шехтель, к слову, друг А. П. Чехова, наверное, не меньше других ненавидели непривлекательный российский быт. Но они в исторической части Москвы, на стыке двух архитектурных структур — Белого и Земляного городов, или Скородома, возвели своего рода Китеж, в котором “быт” — кухню и прочее, с ней связанное, — упрятали под землю, в подвал, откуда блюда подавались в столовую по специальному подъёмнику. И всё это сохранилось.

Горький, как истинный сын своего века (“Человек выше сытости!”), бытом не интересовался, не интересовался и подземной частью своего жилища. Он не знал и до сих пор не знает, как попадает на его стол еда, готовят ли её в подземелье или доставляют из Кремля.

Отделена от особняка и другая составляющая “быта” — хозяйственный двор, конюшня и каретный сарай, дворницкая, прачечная, жилые помещения для прислуги, сараи. Они не высоки, не превышают двух этажей, и своей приземлённостью оттеняют и подчёркивают кубовидность объёмов, устремлённость всего здания вверх, особенно той его части, которая увенчивается башней.

В башне (Горький это знает) находится молельная, самое сокровенное место Китежа Рябушинского. К ней ведёт потайная лестница, освещаемая узкими окнами, хорошо видными со Спиридоновки и хозяйственного двора. Хозяйственный двор отделён от основной части усадьбы прозрачной решёткой, точно такой же, какая огораживает весь Китеж. Но если кержацкий Китеж скрывается от глаз людских, то московский, напротив, оголяется со всех сторон, откровенно демонстрирует свою непритязательную красоту.

Нельзя сказать, чтобы Алексею Максимовичу была по душе эта откровенность, и потому он редко появлялся в саду, а когда всё же выходил, то старался держаться поближе к решётке хозяйственного двора.

Поражала Алексея Максимовича безлюдность этого двора, его пустыньность. Но она была обманчива. Просто люди, обслуживающие дом, должно быть, обладали свойством американских полицейских: их не видно, но в нужный момент они вырастали, как из-под земли. Помнится, ещё при жизни Максима пришёл как-то на Никитскую Бухарин. Парадный вход был закрыт. Николай Иванович поленился идти в обход, перемахнул через ограду и тотчас же оказался в цепких руках то ли дворника, то ли истопника, и Максиму пришлось вызволять высокого гостя и извиняться перед ним.

Китеж Рябушинского демонстрировал то, что следовало демонстрировать, и прятал то, что показывать не хотел. Башню, которая увенчивает здание и в которой находится молельная, нелегко разглядеть с земли. Её скрывают от недобрых посторонних глаз те самые карнизы, которые поприветствовали сегодня

Алексея Максимовича если не как хозяина, то как доброго старого знакомого.

Алексею Максимовичу не приходилось бывать в башне, но Максим туда забирался, и, видимо, не один раз. Эффект, по его словам, поразительный, особенно по утрам, когда разноцветные витражи осветительного фонаря играют всеми цветами радуги и оживляют тёмные лики святых. Горький тоже хотел побывать там, но его всячески отоваривали и Максим, и Крючков, пугали крутизной лестницы и беспорядком, который учинили и в ризнице, и в молельной, должно быть, местные атеисты, когда в особняке располагались сначала отделы Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР, потом Государственное издательство под началом В. В. Воровского. Размещались здесь и Психоаналитический институт, и детский сад для отпрысков партийно-правительственной верхушки, и Всесоюзное общество культурных связей с заграницей, пока в 1931 году здание не было передано Горькому и его семье. Одним словом, непрошенных посетителей и постояльцев в тайной обители Рябушинского хватало.

Воспоминания взволновали старого писателя. Он заходил по кабинету, раскашлялся, закурил, чтобы сбить кашель, и взял из шкафчика наугад, не глядя, первую попавшуюся пластическую мелочёвку. Осторожно и нежно ощупывая фигурку из слоновой кости, он пытался угадать, что это за создание, не угадал, но не рассердился, а рассмеялся: богато его собрание.

Неудача с разгадкой почему-то успокоило его, и он решил лечь спать. Войдя в спальню, Алексей Максимович нажал на выключатель. От ослепительного верхнего света широкая кровать под тёмным покрывалом, казалось, чуть дрогнула.

— Здравствуй, распутница, — поприветствовал писатель свою старую приятельницу, которую почему-то прозвал “балериной”, и присел на край кровати. На тумбочке как стоял, так и стоит фотопортрет Марфеньки, последняя работа Максима. До него в этой же рамочке была фотография сына — до 11 мая 1934 года. В день его смерти Алексей Максимович вынул карточку и спрятал в ящике тумбочки. Открывать сейчас тумбочку он не стал, но решил, что завтра же побывает на могиле сына.

На глаза попались Бурьга и Яков Пигунок. Писатель давно забыл, что сотворили эти два деревянных уродца в ранних рассказах Леонида Леонова, но они частенько подбивали его на какие-нибудь легкомысленные поступки. Вот и сейчас не иначе, как через них, Алексею Максимовичу пришла мысль посетить Марфу и Дарьюшку. Все домашние кикиморы, надо думать, спят, а Крючкова и Екатерины Павловны в доме нет.

— Главное — не раскашляться, — подумал он вслух и вышел из комнаты.

В прихожей и гардеробной-вестибюле было темно, но парадная лестница — ярко освещена. Она нежится в своём замысловатом древовидном и закрученном каменном логове, сияя изяществом и красотой. Знаменитый волнообразный парапет из серо-зелёного вазелемского мрамора, казалось, дышал, а голубовато-синий при дневном свете витраж сейчас агатово мерцал, точно неаполитанский ночной залив.

Горький не припомнит другого здания, в котором бы парадная лестница играла такую важную роль и была бы главным формообразующим фактором. Она связывает воедино верхний и нижний этажи, на неё сориентированы все коридоры и холлы, проёмы и помещения и вверху, и внизу. Она встречает и провожает каждого, входящего в дом, а обитателей особняка объединяет в одну семью. Благодаря лестнице дом обрёл интимный характер и был явно предназначен для элитного жилья, а не для офиса. Недаром тут не задержалось ни одно советское учреждение, а переделке под коммуналку здание просто не поддавалось.

Прежде чем подняться наверх, Алексей Максимович заглянул в столовую, где, после кабинета, проводил большую часть времени, и в гостиную, где размещалась библиотека. Как и в кабинете, здесь без него ничего не изменилось.

Оглядывая знакомую обстановку столовой в бликах отражённого уличного освещения, он пожалел, что заставил убрать самый красивый в доме беломраморный камин и забелить орнаментальную роспись, украшавшую верхнюю часть стен над дубовыми панелями. Без камина и росписей комната хотя и увеличилась немного, но потеряла законченность и превратилась в заурядный зал для заседаний, каких много в Москве.

Гостиная олицетворяла собою самую красоту: по стенам – водное и надводное царство, на потолке – праздничный мир цветов, солнца и яркого синего неба. Но в эту богато и со вкусом расписанную комнату было втиснуто несколько десятков книжных шкафов под красное дерево. Шкафы не уместились в гостиной, вылезли в прихожую, забралась в секретарскую, заслонили собой витражи вестибюля, примостились на лестнице, расплозились по второму этажу...

Горький всегда испытывал сложное, противоречивое чувство, глядя на избытки деревянных шкафов, сработанных по его собственным эскизам. Конечно, они не украшали фешенебельные апартаменты особняка. Но ему не нужна была гостиная (он – не Мережковский), нужна была библиотека. Правда, он не припомнит, чтобы кто-нибудь засиживался в ней, да и сам читал в кабинете или в постели, при свете лампы, подвешенной на специальный крюк. Наверное, книги, в самом деле ему необходимые, можно было бы разместить иным способом и в ином месте. Но это дело будущего. Только есть ли оно? Погрустнев, Алексей Максимович стал медленно подниматься по лестнице.

В детской на столике, расположенном между двумя кроватками, горел небольшой ночник – гриб-боровик. Алексей Максимович приблизился к кроваткам, осторожно присел на одну, в которой, разбросав ручонки, спала Марфинька. На другой, свернувшись калачиком и по-утиному уткнув нос в одеяльце, посапывала Дарьюшка. Алексей Максимович по очереди всматривался в любимые черты внучек, точно хотел запечатлеть их в сердце, не выдержал и, Бог знает почему, тихо, по-бабьи, заплакал. Слёзы катились по серому, землистому лицу старика.

Вдруг его что-то насторожило. Он глянул вбок и увидел божественно красивую голую женскую ногу, выпростанную из-под белой полы халата и вольно покоящуюся на другой ноге, скрытой одеждой. Присмотревшись, он увидел девушку, навзничь лежавшую на диване. Косая тень от ночника скрывала небольшую головку в мелких кудряшках с задранной носиком. Лицо девушки не припоминалось. Сестра-сиделка, должно быть, – предположил Алексей Максимович, – или сестра-лежалка, как сострил бы Максим.

Присутствие постороннего человека в комнате вмиг разрушило сентиментальное состояние старика. Он с сожалением, стараясь не смотреть в сторону дивана, вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь.

В просторном, роскошном вестибюле второго этажа с холлами, переходами, арками, полуарками, колоннами, бесчисленными высокими украшенными дверьми, освещённом прозрачным уличным электрическим светом, было, как в кержацком сосновом бору в лунную летнюю ночь, таинственно и тихо. Алексею Максимовичу вдруг страстно захотелось попасть в храм Рябушинского, точно это была последняя возможность в его жизни сделать это.

Он знал наверное, что из вестибюля второго этажа есть незаметный узкий проход на потайную чёрную лестницу, ведущую в молельную, расположенную в северо-западном углу дома на третьем этаже. Он долго кружил по вестибюлю в поисках скрытого перехода, но всякий раз наткнулся на приземистую, точно оплывшую, колонну красно-коричневого мрамора, у подножья которой крутились и корчились преотвратные и противные саламандры по соседству с чудесными лилиями.

Выбившись из сил, Алексей Максимович направился к парадной лестнице и остановился у её вершины, чтобы передохнуть перед спуском. Похоже, Китеж скрылся от него и на сей раз, как скрылся в молодости, когда он бродил по керженским лесам.

Горький не знал, что жить ему оставалось столько дней, сколько насчитывалось мраморных ступенек, по которым ему предстояло сойти вниз.

VI

Тайная Вечеря

На исходе дня 28 мая 1936 года к подъезду особняка Горки-10 подкатил “газик” с пропылённым брезентовым верхом. Из него вышли три молодых человека и быстро направились к вестибюлю, где их встретил секретарь Горь-

кого Крючков и, минуя охрану, проводил на второй этаж. У кабинета они остановились, а секретарь бесшумно скрылся за дверью.

Алексей Максимович дремал за письменным столом. Пётр Петрович с минуту стоял над ним, потом, оглянувшись на дверь, тронул Горького за плечо и сказал вполголоса: “Комсомол”. Горький не сразу, но понимающе кивнул, станул со спинки кресла, на котором сидел, светло-серый пиджак, накинуд его на плечи и направился к выходу. Крючков вразвалку последовал за ним. Перед порогом писатель остановился, тронул галстук, улыбнулся в усы, а Крючков лёгким нажатием ладони распахнул высокие двустворчатые двери.

Перед писателем в полувоенной, ладно подогнанной форме стояли секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, редактор “Комсомольской правды” Бубекин и еще один курчавый молодой человек в штатском, которого хозяин не знал или забыл, как звать. Алексей Максимович посветлел лицом, широко шагнул навстречу гостям и сердечно пожал руку Косареву, потом – Бубекину, приговаривая густым волжским баском:

– Очень рад... Очень рад...

Когда же он повернулся к молодому человеку, чтобы поприветствовать и его, тот по-военному отрекомендовался:

– Файнберг, член Президиума.

Алексей Максимович задержал взгляд на молодом человеке, дав понять, что заинтересован знакомством, и обратился к Петру Петровичу с просьбой проводить гостей в кабинет, помочь им освоиться, а сам извинился, что покинет их на некоторое время. В сущности, никакой особой надобности в том, чтобы отлучаться от гостей, у хозяина не было, если не считать распоряжения об ужине. Просто у него с давних пор выработалась привычка вновь прибывших на какое-то время предоставлять самим себе, чтобы они могли вжиться в обстановку, да и самому нужно было свыкнуться с их присутствием.

Обычно Горький оставлял с гостями кого-нибудь из своих. В последние годы эту заботу добровольно взял на себя Максим и неплохо с нею справлялся. Он хвастался, что ему ничего не стоит принять хоть шведского короля. Случалось, и не раз, когда здесь или на Никитской Максим вместе с Крючковым за каких-нибудь полчаса встречали и размещали до полусотни шумливых братьев-писателей и готовили их к беседе с Горьким. Иногда на встречах присутствовал И. В. Сталин и два-три члена Политбюро. В принципе, их присутствие ничего не меняло, но придавало событию особую остроту. Сталин вёл себя тогда достаточно демократично, вступал в разговоры, шутил, смеялся.

Основная цель всех этих неофициальных собраний и встреч сводилась к тому, чтобы покончить с разногласиями между писателями, превратить их в единую монолитную силу, ратующую за советскую власть, за социализм.

Казалось, что с созданием Союза писателей СССР во главе с Горьким эта проблема будет решена самым основательным образом. Так думали многие, в том числе и вожди, но Горький скоро понял, что и при Союзе в жизни писателей мало что изменилось. К старой расхлябанности, неорганизованности, небрежности и лени добавились социальная апатия, вялость, безразличие, боязнь острых дискуссионных тем. Бесконечные пленумы и совещания Правления Союза писателей по большей части, как казалось Алексею Максимовичу, носили показательный, казённый характер. Качество произведений не улучшалось, связь литераторов с жизнью, с народом ослабевала. Столичные писатели уже не стремились на стройки, а больше хлопотали о дележе и об устройстве подмосковных переделкинских дач.

Всё это очень тревожило Алексея Максимовича. Особенно же озадачивало и смущало его то обстоятельство, что даже близкие к нему художники не во всем разделяли его опасения и неохотно говорили на эту тему. Сам И. В. Сталин после съезда, похоже, потерял интерес к писательским делам, перестал бывать у Горького и не всегда отзывался на его просьбы. Естественно, в этих условиях Горький чувствовал себя неуютно, одиноко и как бы в стороне от дел, так как всем заправлял аппарат под бдительным присмотром Щербакова.

Помощь пришла с неожиданной стороны – от лидеров комсомола. Удивительно, но Косарев и Бубекин почувствовали недомогание советской литературы почти так же, как чувствовал его он, и даже диагноз обозначили тем же словом: “ожирение”. Они установили с Горьким, жившим в Тессели, контакт, подняли вопрос о состоянии литературы в “Комсомольской правде”, включили его в повестку дня X съезда комсомола и познакомили его с текстами сво-

их докладов. Горький внёс в доклады Косарева и Бубекина незначительные поправки и в целом остался ими доволен.

Правда, Алексей Максимович не знал, насколько Косарев и Бубекин были самостоятельны в своих инициативах, согласовывали ли они свои действия со Сталиным или хотя бы со Ждановым или Щербаковым. Не знал он и того, по чьему почину оказались на съезде А. Н. Толстой, Чуковский и Павленко. Последний от имени Секретариата Правления союза писателей произнёс тусклую и бессодержательную речь, а Толстой и Чуковский в своих ярких и остроумных выступлениях во многом сгладили полемическую остроту докладов комсомольских вожаков и этим огорчили Горького. Сможет ли он, Горький, считающийся главой советских писателей, объяснить своим гостям, что происходит сейчас в литературе и что ему самому, говоря по совести, не всё ясно?

Проблуждав с четверть часа по пустынным коридорам особняка, некогда принадлежавшего вдове Саввы Морозова, который он, к слову, до сих пор не удосужился обойти целиком, переговорив с Надеждой Алексеевной об ужине, Горький решил, наконец, вернуться к гостям. Их он нашёл чинно сидящими вокруг его письменного стола. Они тихо переговаривались между собой, поджидая Алексея Максимовича. За хозяином оставалось его рабочее кресло, возвышающееся на добрую четверть над остальными благодаря специальной подставке. Взобравшись на сидение и глянув сверху на свою притихшую немногочисленную дружину, Горький, к удивлению своему, почувствовал прилив властных сил, и им овладело радостное ощущение, что не сирота он на этом свете.

Глаза Алексея Максимовича, помимо его воли, пытливо вглядывались в лица гостей. Смотрелись они хорошо. В их обществе даже привычный Крючков казался добрее, человечнее и моложе своих лет. Косарева и Бубекина Горький встречал не раз, но Файнберга видел впервые. Зная свою слабость к людям семитского происхождения, он внимательнее взглянул на новичка и остался доволен: современный тип молодого еврея, хоть картину пиши. Похоже, Файнберг вполне освоился в новой для него обстановке. На его красивом смуглом лице всё яснее и отчётливее проступала характерная ироническая усмешка. Бубекин был, как всегда, сосредоточен и серьёзен, зато Косарев сошёл бы за рубаху-парня, если бы не узкие, цепкие и умные глаза. Его стройная, тонкая и гибкая фигура источала энергию и силу, а за простотой и добродушием скрывалась железная воля. Он был моложе Максима на пять-шесть лет, но успел постоять у станка, побывать добровольцем на гражданской войне, поехать в Юденич, получить ранение. Имея за плечами всего два класса образования, он вот уже более десяти лет занимал высший пост в комсомоле, пользуясь доверием и расположением Сталина и заслуженной любовью молодежи. Он управляет, и управляет хорошо, четырёхмиллионной армией комсомола, и её ряды непрерывно пополняются.

Ласковое летнее солнце уже скрылось за вековыми деревьями парка, но тёплый свет ещё щедро вливался через огромные незашторенные окна кабинета, отражался от высокого белоснежного лепного потолка, серебрился в седых волосах хозяина. Но лёгкие синеватые тени накладывали еле заметный отпечаток на его лицо, делали его усы гуще, сглаживали очертания вещей, скапливались в углах, сжимали пространство вокруг письменного стола, придавая кабинетной обстановке оттенок таинственности и интимности.

Ждали слова Алексея Максимовича, но тишину неожиданно разорвал картавый голос Файнберга:

- Как на Тайной Вечере...
- Но без Иуды, – поправил Крючков.
- Ну, Иуда всегда найдётся, – заметил Бубекин.

– Только не среди нас, – по-секретарски уверенно возразил Косарев. Повернувшись к Горькому, он участливо спросил:

- Как доехали, Алексей Максимович?

– Замечательно, замечательно доехал, Александр Васильевич, – поспешно ответил Горький.

На вопрос о том, какие дороги, Алексей Максимович, тряхнув головой, передёрнулся, глянул в сторону члена Президиума и ответил:

– Дороги? Какие дороги! Каганович преобразил их. Чистота. На вокзалах ремонт. Никогда у нас таких дорог не было, никогда. Я-то знаю старые российские дороги...

Он долго ещё говорил в этом духе, вдруг, что-то вспомнив (а вспомнил он толпы безбилетников на перронах, тесноту и духоту переполненного вагона, куда случайно заглянул), оборвал себя, посуровел, сердито забарабанил пальцами по столу и, обращаясь к Косареву и Бубекину, сказал:

— А ловко вы писателей на своём съезде пропесочили! Камень, который вы бросили в болото, именуемое Союзом советских писателей, должен вызвать хорошее, здоровое волнение среди писателей. Должен вызвать и — вызывает, если “Комсомольская правда” последовательно, упрямо, неустанно начнёт всестороннюю серьёзнейшую драку за оживление литературы, за активизацию литераторов, за воспитание в их душонках социабельных настроений, за разжигание огоньков в их близоруких глазах...

Крючков давно не видел своего патрона в столь воинственном возбуждении. Как Зевс Громовержец, метал он громы и молнии в бедных советских писателей. Чтобы не встречаться взглядом с хозяином, Крючков склонился над столом, смяв пухлые щёки толстыми волосатыми пальцами. “Неужели опять война с литераторами?” — с тоской подумал он и скосил глаза на соседа. Член Президиума растерянно смотрел на своих товарищей, переводя взгляд с одного на другого.

Комсомольские лидеры сидели спокойно. Косарев внимательно слушал Алексея Максимовича, машинально разглаживая и без того туго натянутое настольное сукно. Бубекин, грудью навалившись на край стола, смотрел в одну точку и вслушивался в слова хозяина с таким напряжённым вниманием, точно хотел не только услышать, но и увидеть, что скрывалось за его словами.

Алексей Максимович помолчал немного и добавил более спокойно, но жёстко:

— Да, да, через “Комсомольскую правду” надо сталкивать писателей лбами друг с другом и вышибать искры из глаз. Это будет полезно для расширения поля зрения и для развития дальnozоркости.

— Совершенно изумительно, — продолжал Горький, — наше короткоумие, самодовольство, индивидуалистическая скаредность в трате сил на хорошую, честную работу по изданию книг. Изумительно отсутствие коллективного начала, обилие личных трений среди литераторов, пустяковина, наполняющая их жизнь. И боязнь ответственности изумительна...

Высказав всё это, Алексей Максимович вдруг умолк и опустил голову на грудь, словно впад в забытьё. Бубекин и Косарев понимающе посмотрели друг на друга, но не произнесли ни слова и не сдвинулись с места. Замерли Файнберг и Крючков. Между тем время шло. Сумерки сгущались, вытесняя дневной свет. Вещи в кабинете точно плавали в темнеющей синеве. Плыл и стол, за которым шла беседа, расслабляя и убаюкивая слушателей, слегка ошеломлённый напористой и страстной речью Алексея Максимовича.

— Вот вы, Владимир Михайлович, — вдруг вновь заговорил Горький, — в своём прекрасном боевом докладе на съезде, между прочим, сказали, что Авдеенко написал “Судьбу”, по-видимому, без достаточной помощи. Но это не совсем так. Я читал рукопись этой книги в первой редакции, где автор избражал заседание ЦК Промпартии, суровую Бретань, как райский сад. В этом виде рукопись целиком была забракована мной. Через несколько месяцев Авдеенко прислал второй текст, вполнину первого, выкинув Бретань, Промпартию и всё прочее, о чём он не имеет ни малейшего представления.

Раньше, чем я успел прочесть этот текст, он уже появился в “Октябре”. Я написал автору письмо, осуждая его за поспешность, указал на недостатки “Судьбы”. Мне говорили, что, прочитав моё письмо, он согласился с указаниями моими, но через месяц после того сообщил мне, что я оболгал и его, и героя “Судьбы”. Вот так это было. “Я люблю” тоже читано мною в рукописи, затем её дважды правил Всеволод Иванов.

Сделав это сообщение, Алексей Максимович вновь замолчал. Он намеренно не сказал, что в создании “Судьбы” принимал участие и Ягода, и тоже остался недоволен и автором, и его произведением. Молчали и его слушатели, осмысливая и переваривая каждый по-своему будничные подробности литературного быта, участие в них Алексея Максимовича, странное поведение Авдеенко.

Все испытывали какую-то неловкость. Особенно не по себе было Бубекину. Владимир Михайлович собирался с мыслями, чтобы что-то пояснить по

этому поводу, но его опередил сам Горький. Как бы подводя итог своим размышлениям, он сказал:

– Вообще-то мы несколько поторопились фабриковать гениев. В этом виноват и я.

Эти слова Горького вызвали небольшой переполох. Все, кроме Бубекина, вскочили со своих мест, окружили Алексея Максимовича, пытаясь внушить ему, что он несколько не виноват, что писатели сами строят из себя гениев. Горький, должно быть, не ожидал столь бурной реакции на его простодушное признание и даже немного растерялся. Но тут Бубекин попросил слова, шум сам собою угас, и все вернулись на свои места.

Владимир Михайлович не стал ни подтверждать, ни отрицать вину Горького в фабрикации гениев, но подчеркнул, что писатели постоянно жалуются на критику, которая якобы только то и делает, что незаслуженно нападает на них.

– “Я люблю” Авдеенко, – говорил Бубекин, – так расхваливали, так задаривали и издатели, и критики, и писательские руководители, что он потерял голову и написал плохую книгу “Судьба”.

Владимир Михайлович выразил сожаление, что невольно ввёл делегатов съезда в заблуждение, высказав предположение, что Авдеенко не помогли при создании “Судьбы”. Оказывается, помощь была, да ещё со стороны самого Алексея Максимовича!

– Помочь писателю надо, – продолжал редактор “Комсомольской правды”, – но делать из него гения, да ещё из такого, как Александр Авдеенко, безнравственно. Ну, какой из него “инженер человеческих душ”, если у него вместо души – пустота, заполненная смесью зависти и тщеславия. У писателя душа должна быть добрая, широкая и совестливая.

Во время выступления Бубекина Горький не проронил ни слова, сидел, опустив голову, и было неясно, слушал ли он. Сумерки сгущались, стало почти темно. Крючков включил люстру, вполсилы осветившую кабинет, но настольную лампу зажигать не стал. Молчание продолжалось ещё некоторое время. Вдруг Горький заговорил. Он поблагодарил комсомола за своевременную поддержку литературы и сказал:

– Я не паникёр, но, на мой взгляд, положение у нас хуже того, как оно было освещено на съезде комсомола.

Все насторожились, ожидая комментариев, но их не последовало. Вместо этого Горький поделился со слушателями своими ощущениями от чтения “одного документа”, как он выразился:

– Я вот только что ознакомился со стенограммой заседания по работе над книгой “Две пятилетки”. Уныние и скорбь, восходящие до бешенства, – вот впечатление. Люди совершенно не отдают себе отчёта в необходимости художественного итога замечательной работы партии под руководством Сталина, которая во всех других областях человеческой деятельности блестяще опровергает старую философию и утверждает философию новую...

Что это за люди, и по какой такой причине они не отдают себе отчёта в необходимости подвести художественный итог 25-летней работы партии, Алексей Максимович уточнять не стал и предложил спуститься вниз, поужинать.

За ужином хозяин был любезен, мил, много шутил, рассказывал забавные истории о глупостях все тех же литераторов, о том, что один из них спутал Николая Добролюбова, критика, с Александром Добролюбовым, сектантом и мракобесом. Другой литератор насчитал у осьминога десять ног.

Горький много фантазировал, строил разные проекты о приватизации большевиками Марса, Венеры и других планет, об изготовлении искусственного человеческого тела, в котором бы все органы двигались и работали так же, как они работают в живом человеке. Чтобы грудную клетку можно было раскрыть, как шкаф, и сразу увидеть, что там есть. Вот работает сердце, от него идут артерии, по ним бежит кровь. Лёгкие вдыхают и выдыхают воздух... Кстати, говорил он, лёгкие можно сделать из той же резины, из которой делают губки. Ведь достаточно будет, – утверждал он, – несколько раз посмотреть этого искусственного человека, чтобы наглядно познакомиться с такой сложной штукой, как человеческий организм.

Горький предлагал приспособить муляж в качестве учебного пособия для студентов, и его слушатели отнеслись к этой идее вполне серьёзно. После смерти писателя они в своей статье, посвящённой этой встрече, напишут, что

Наркомздраву “следовало бы подумать над тем, как осуществить горьковскую мысль в медицинских институтах” (“Правда”, 1936, 12 августа).

Много о чём говорил тогда неугомонный старик: и о хороших детских игрушках, которых недостаёт, и об отрядах юных крестоносцев, которые создавались в Средние века для борьбы за Крест Господень, и об изменении крестьянских законов со времён “Русской правды” и до наших дней, и о философских проблемах, связанных с выяснением сущности жизни, и многом другом.

Один из проектов: взять 20–40 студентов, советских интеллигентов, наших людей, прикрепить их, к примеру, к Наркомпросу, связать с этим учреждением – пусть готовятся будущие наркомпросовские работники! Другой проект – создание нового журнала для молодёжи, который расширял бы круг её знаний в самых разных областях.

Прослушав передачу радио о подготовке фашистов к войне, он сказал:

– Воевать хотят. Сколько молодых талантов погибнет! Гитлер – вот сучья-то! Своими руками задушил бы. Надо молодёжи нашей больше читать о фашистах, об этих зверях.

Не раз он возвращался и к литературе. Особенно негодовал на то, что писатели свои материальные интересы ставят выше творческих.

– Слишком торопятся сами себя в гении производить. Надо бы освободить Союз писателей от всего негодного, от всех этих людишек, которые только мешают настоящим писателям работать и портят дело. Не три тысячи иметь, а, скажем, триста? Но не всё у нас плохо. Не всё плохо. Вот “Тихий дон” – это уже настоящая вещь.

Словно предчувствуя, что это его последняя встреча со своей дружиной, Горький говорил и говорил, выдвигая проекты о детской литературе, о создании специальных полос в газетах, посвящённых литературе и искусству, об организации отзывов на книги, о новых темах, включая и тему русской лени. Но близилась полночь. Гостям пора было уезжать. Условились о ближайшей встрече, посвящённой детской литературе. Простились дружески. Крючков пошёл проводить гостей, а Горький поднялся к себе, чтобы по свежей памяти сделать наброски к программе будущего детского журнала и составить план издания книг для детей старшего и среднего возраста.

Алексей Максимович сел за свой рабочий стол и... заснул.

Незаконченный шедевр

29 мая, в пятницу, Алексей Максимович проснулся против обыкновения поздно. Он, наверное, поспал бы ещё, если бы не Липочка, Олимпиада Дмитриевна. Чем-то озабоченная, в тесноватом белоснежном халатике, она бесшумно хлопотала в дальнем углу. Должно быть, ей не терпелось приступить к массажу ног и другим процедурам, предписанным вчера ему профессором Бурденко в связи с обострением подагры, расширением вен и прочими застойными явлениями. В остальном же Николай Нилович нашёл состояние Алексея Максимовича, к общей радости домочадцев, относительно удовлетворительным.

Липочка по ей одной известным признакам почувствовала, что Алексей Максимович проснулся. Она бесшумно выкатила на середину комнаты два столика. На одном из них под белой салфеткой был скрыт завтрак, на другом покоились принадлежности для утреннего туалета и медицинских процедур. Приблизившись к кровати, она положила свою ладонь на лоб Алексея Максимовича, пощупала пульс на его руке, помолчала немного и, сдерживая радость, приятным, но без обычной теплоты, грудным голосом сказала:

– Вас ждут дела, сэр.

“Сердится”, – подумал Алексей Максимович. Как и Крючков, она досталась ему как бы по наследству ещё от Марии Фёдоровны, сроднилась с Тимошей и Максом, а к Марфе и Даше относится, как к своим внукам. Для него после разрыва с Мурой она стала желанной женщиной, и он давно хотел объявить её членом семьи, но она возразила и противится до сих пор.

Она не подозревает, что, работая над “Климом Самгиным”, Горький писал с неё портрет Анфимьевны, домоправительницы Варвары, жены Клина. Он подарил ей три тома “Жизни Клина Самгина” с надписью на одном из них:

“Милому другу и врачу моему Олимпиаде Дмитриевне Чертковой. 10. III. 34. М. Горький”.

... Мало кому пришёлся по душе его “Самгин”. Ещё меньше тех, кто понял это его прощальное произведение. Многие просто не отозвались на него. Помалкивают Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Алексей Толстой. Молчит и Сталин. В сущности, только Ромен Роллан разгадал стилистическое своеобразие “Жизни Клим Самгина”, указав на его обжигающую беспристрастность.

Во время этих невесёлых размышлений его услужливая и всё ещё цепкая память подсунула его воображению простоватую физиономию Олимпиады Дмитриевны. От неожиданности Алексей Максимович рассмеялся и припомнил, что, по старомодному презентуя Липочке три увесистых тома “Клим Самгина”, про себя он рассчитывал на её отзыв, но его не последовало. Олимпиаде Дмитриевне, занятой по дому, должно быть, не до “Клима” и не до честолюбивого любопытства его автора.

В те годы он усердно рассовывал по разным адресам своего “Клима” и с нетерпением ждал откликов. Он чутко прислушивался к голосу прессы и знал, что в России “Клим Самгина” ждали, но когда появились первые публикации, встретили их кисло и наговорили кучу несообразностей: “мороженое мясо, которое можно кусками печатать во всех журналах и газетах” (В. Шкловский); в нём якобы собраны “редчайшие виды уродств, многообразный садизм, патологический эротизм, непостижимые извращения человеческой природы” и так далее, в том же духе. Зазубрин нашёл, что “Клим” страшнее “Бесов” Достоевского.

Одним из первых откликнулся на появление нового произведения Фёдор Гладков. Фёдора Васильевича Горький хорошо знал, поддержал его роман “Цемент”. Будучи секретарем редакции журнала “Новый мир”, Гладков порадовал Алексея Максимовича сообщением об интересе простых читателей к его работе над “Климом Саигиным”. Но когда он получил от Гладкова письмо с пространством отзывом о первой части романа, оно вызвало у старого писателя недоумение.

“Только что прочёл Вашего “Самгина”, — писал Гладков Горькому 7 августа 1927 года, — и в душе у меня — угарная муть, точно переживаешь тяжёлый кошмар. Трудно жить с Вами в одно время. Огромной глыбой распластались Вы над всей литературой. Очень Вы много говорили и говорите о человеке, о любви к нему. А мне кажется, что Вы не любите людей, презираете их и глумитесь над ними. И всё, что Вы пишете о людях, — всё это от ума, а ум у Вас какой-то диогеновский, а может быть, и аввакумовский — Горький ум. Вы только и убеждаете, что не только мы думаем скверно, но и делаем всё глупо, впустую, никудашно (т. е. ничего не делаем). И характерно, что все эти “жизни” Ваших людей, лишённые динамики, — тяжёлые, унылые жизни, без событий, без борьбы — сплошная тоска и “неделанье”. Сукровицей текут эти “жизни”, начиная, пожалуй, с “Фомы Гордеева” (в первых 3-х тт. люди у Вас и делали неплохо, и думали блестяще и смело). Мы, идущие в массы и работавшие над собой, воспитывались на Вас.

Вот и теперь эпоха наша требует художественного раскрытия её живописного источника. И я мучительно думаю: вот в воспоминаниях своих и в статьях Вы упорно, настойчиво пишете об этом “герое-человеке”, а в художественной летописи своей всё пропитываете “самгинской сукровицей”: там — Дон-Кихоты, здесь — Гамлеты, там — поэма, здесь — трагедия. Почему это? А ведь Вы могли бы создать эту поэму изумительно — именно Вы — Горький. Вы простите меня за эти сумбурные мысли — от души всё это”.

Горький не сразу отозвался на это письмо. Не дождавшись ответа, обеспокоенный Гладков пишет 25 сентября 1927 года:

“Дорогой Алексей Максимович, я не могу освоиться с мыслью, что моё последнее письмо оскорбило или обидело Вас: не могу допустить этой возможности. Вас никто не может обидеть, потому что Вы по своему необычайному уму и мировому значению — выше этого. Очень вероятно, что я — не прав в своих суждениях о “Самгине”, и совсем не спорю, что я, может быть, не понял нутра этого произведения, но то, что я писал Вам, я чувствовал больно, и мне хотелось высказаться от души. Я ждал, что Вы поможет мне разобраться в недоумённых вопросах и укажете на мои ошибки. Но Вы не ответили, и я теперь в тревоге. Я хочу, чтобы Вы сказали мне своё слово”.

Через неделю, 2 октября 1927 года, Горький ответил Гладкову:

“Какой Вы “подозревающий” человек, Фёдор Васильевич! Чуть только немного задержишь ответ на Ваше письмо, как Вы уже подозреваете: “Оби-делся!”

Не следовало бы подозревать меня болеющим “недугом обидчивости”, потому что в оценке Вашей “Самгина” ничего “обидного” не содержится. Ваше мнение о “Самгине” — мнение, с которым я так же считаюсь, как и с мнением всякого другого литератора, мастера одного цеха со мною”.

В объяснения с Gladковым Алексей Максимович вступать не стал, а приложил к письму стишки Арго, перифразы из поэмы Некрасова “Современники”, опубликованные в газете “Вечерняя Москва” 24 сентября 1927 года и перепечатанные “Рулём”:

*Я книгу взял, восстав от сна,
И — погрузился в сон.
Роман “Жизнь Клима Самгина”
На 800 персон!
Что Достоевский? Что Бальзак?
Что книги прежних дней?
Бывали лучше — точно так,
Но — не было скучней.*

“Стишки не очень остроумны, — прокомментировал Горький, — а “На 800 персон” — неплохо! И — увьи! Надо согласиться: книга-то скучновата. Хотя — может быть — это ей и приличествует как панихиде о русской интеллигенции”.

Но насколько был откровенен Алексей Максимович с Gladковым?

Шли годы... 9 сентября 1932 года “Правда” сообщила о постановлении ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР о создании комиссии по проведению 40-летнего юбилея литературной деятельности М. Горького. В комиссию вошли Сталин, Молотов, Постышев, Стецкий и Гронский. Через день-другой по всей стране начинают создаваться юбилейные комиссии. 9 сентября президиум Оргкомитета Союза советских писателей выносит решение включиться в работу правительственной юбилейной комиссии. 14 сентября “Известия” сообщили, что Международное объединение революционных писателей предложило зарубежным секциям начать подготовительную работу по проведению юбилея Горького.

Вскоре в адрес юбиляра со всех концов страны и из-за рубежа пошли приветствия и поздравления. Газеты и журналы стали готовить специальные номера, а юбилейная комиссия ленинградских партийных и общественных организаций выпустила однодневную газету “Максим Горький”.

В юбилейном номере “Правды” от 25 сентября были опубликованы приветствия от ЦК ВКП(б), от СНК Союза ССР, от ЦК ВЛКСМ, от И. В. Сталина. В сталинском приветствии говорилось:

“Дорогой Алексей Максимович! От души приветствую Вас и крепко жму руку. Желаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса”.

Приветствовали Горького М. И. Калинин, С. Орджоникидзе, В. В. Куйбышев, А. И. Микоян. Были опубликованы также приветствия от ВЦСПС, от Оргкомитета Союза писателей СССР и РСФСР, от Международного объединения революционных писателей, от Р. Роллана, А. Барбюса, Б. Брехта, напечатаны статьи советских писателей П. Павленко, Ф. Gladкова, Вс. Вишневского и других.

Центральным мероприятием было торжественное юбилейное заседание в Большом театре с участием руководителей партии и правительства, писателей, деятелей искусства и представителей общественности, намеченное на вечер 25 сентября. Горький спокойно взирал из-за стола президиума на залитый светом и заполненный снизу доверху людьми театральный зал. Избалованный почестями, он чувствовал, что это торжественное заседание окажется прижизненным пиком его славы. Всемирно известный писатель, имеющий реальное влияние на жизнь не только в своей стране, но и за рубежом, обладающий особняком Рябушинского и подмосковной резиденцией с огромным парком, он философски принимал поздравления и знаки внимания в виде названных в его честь учреждений, театров, улиц, высших учебных заведений, предприятий, совхозов, колхозов, парков и прочее...

Он как-то отстранённо, словно посторонний, выслушал доклад М. И. Калинина, который, открывая заседание от имени ЦК ВКП(б), ЦИК и СНК, сообщил о награждении Горького орденом Ленина, о присвоении имени Горького центральному парку культуры и отдыха города Москвы, о переименовании Тверской улицы в улицу имени Горького, об установлении в вузах и втузах стипендий имени Максима Горького.

Он ничем не выдал себя и тогда, когда П. П. Постышев огласил предложение ЦК партии и нижегородских парторганизаций о переименовании Нижнего Новгорода в город Горький. Его ничем не удивили ни Стецкий, ни Бубнов в своих докладах о юбиляре, не говоря уж об Анри Барбюсе, который произнёс в его честь наспех подготовленную путаную речь. Зато сам Алексей Максимович, как ему казалось, в ответ на приветствия выступил достойно, заметив, что он слишком стар для того, чтобы скромничать. Он добавил, вызвав смех и аплодисменты, что понимает, что его заслуги переоценены. Он пожелал молодёжи веры, непоколебимой веры во всемогущество разума, искренне, от души поблагодарил присутствующих за тот подарок, который они ему сделали в этот день, за ту энергию, которую вдохнули в него, и провозгласил здравицу в честь партии рабочего класса.

Правда, были на этом заседании два-три момента, которые вызвали у Алексея Максимовича истинное беспокойство. Его удивило, прежде всего, то, что Сталин занял место не в центре президиума, не рядом с юбиляром, а где-то в стороне.

Второй эпизод был связан с Анри Барбюсом. Горький не имел ни малейшего представления о том, что на заседании будет присутствовать Барбюс. Он увидел его, когда тот в сопровождении Гронского поднялся на сцену. Стецкий уже делал свой доклад, в зале, наконец, установилась деловая тишина. Гронский замешкался на сцене, не зная, куда пристроить француза. Тогда Сталин поднимается и, полуобернувшись к Барбюсу, приветствует его, похлопывая в ладоши. Вслед за Сталиным зал разражается громом аплодисментов. Растерявшегося француза Гронский подводит не к юбиляру, а к Сталину, тот усаживает его на своё место, а сам пробирается во второй ряд. Стецкий продолжает прерванный доклад.

О третьем эпизоде Алексей Максимович едва ли кому стал бы рассказывать. Вышло так, что в Большом театре, на виду у всех, Горький не подал руки Gladкову, якобы не узнав его. Он помнил этот случай. Некоторое время про себя даже гордился своим поступком, потом сожалел, утешаясь тем, что в праздничной суматохе его едва ли кто заметил. Но Алексей Максимович ошибался. Эпизод этот не прошёл незамеченным. Иван Михайлович Гронский в своих воспоминаниях так описывает его:

“Закончилась торжественная часть. Опустился занавес. Целая толпа писателей подходит поздравлять Алексея Максимовича. Среди прочих подошёл и Федор Gladков. Горький пристально посмотрел на него:

– Что-то я вас не помню.

– Ну, как же? Я – Фёдор Васильевич Gladков.

– Не помню. Не помню. – Горький жмёт руку следующему поздравляющему. Красного, как рак, Gladкова оттёрли в сторону”.

“Gladков тщеславен, самолюбив и не слишком умен, чтобы понять “Клима”, – размышлял Алексей Максимович, кружа по кабинету с каким-то ожесточением, точно желая втереть в паркет ноющую боль в ногу, которая так и не прошла после утренних процедур. Он утешал себя тем, что его роман пришёлся по душе Шаляпину и тепло принят Пришвиным, Сергеевым-Ценским, Ольгой Форш, Чапыгиным, Пастернаком, Фадеевым, Роменом Ролланом, Стефаном Цвейгом... Правда, все эти признания выражены в частных письмах к нему и содержат изрядную долю преувеличений, но он всё равно им весьма благодарен.

Что же касается “записных” критиков, вроде Шкловского, Горбачева, Зелинского, Чужака и других, то они, за редким исключением, как, например, Луначарский, кусают и рвут “Клима” без всякого почтения к его автору. Им на свой лад вторят эмигрантские зоилы и некоторые зарубежные критики.

Не было и нет привычного для Горького ажиотажа вокруг “Клима Самгина”. Ни в России, ни за её пределами. Это, пожалуй, беспокоило Алексея Максимовича больше всего. Объяснял он сам себе это тем обстоятельством, что слишком затянул с окончанием романа. Ещё в Крыму он решил отодвинуть

в сторону все текущие дела и вплотную заняться окончанием “Клима Самгина”.

Алексей Максимович резко свернул в угол кабинета, где находился внушительных размеров старинный стол, на котором обычно хранились вспомогательные материалы. Однако по “Климу Самгину” их не оказалось. Не было даже трехтомного юбилейного издания “Самгина”. Крючков, видимо, весь этот архив с вырезками, выписками, письмами не успел или забыл разместить на положенном месте.

Не мешкая, Горький вышел из кабинета и направился к Крючкову, но в коридоре наткнулся на Олимпиаду Дмитриевну и не удивился, а обрадовался и даже рассмеялся: добрая примета. За долгие годы он привык к тому, что она всегда оказывается в нужный момент на нужном месте. Липочка была не в халате, как утром, а в сиреновой блузке, которая ей шла. Похоже, неожиданная встреча с Горьким её смутила. Она ещё больше смутилась, когда он отрывисто спросил:

– Где Крючков? Что, запил?

Узнав, в чём дело, Олимпиада Дмитриевна пообещала всё выяснить и через четверть часа вошла в кабинет в сопровождении незнакомой Горькому молоденькой женщины, должно быть, новой горничной, с кипой папок и трехтомником “Самгина”.

Алексей Максимович поблагодарил женщину за труд и сказал:

– Три дня меня нет.

Олимпиада Дмитриевна понимающе и одобрительно кивнула головой. Она любила, когда Горький оставался один.

IX

“Романище пишу...”

Когда за женщинами закрылась дверь и Горький остался один, он знал, что все эти три дня Липочка никому не даст переступить порог его кабинета. Так оно и случилось. Последние дни мая и первые числа июня в будущей четырехтомной летописи жизни и творчества писателя останутся почти пустыми. Его никто не посещал. Но именно в эти дни он усиленно, до изнеможения, занимался романом “Жизнь Клима Самгина”. Он хотел завершить своё художественное завещание, но смертельный недуг сломил его.

Горький некоторое время задумчиво смотрел на плотно прикрытую дверь. “Вот и оборвалась, не успев закрепиться, ещё одна связь с живым человеком”, – грустно улыбнулся он. Ему уж давно нет нужды думать о хлебе насущном, живёт на всём готовом и не чувствует, не понимает тех, кто варит ему пищу, прибирает комнаты, чистит парковые аллеи, беспокоится о том, чтобы ему жилось сытно, тепло и удобно. Освобождён он от заботы о тех, кто о нём печётся. Не он их нанимает на работу, не он рассчитывается с ними за их труд и, по правде говоря, он и не знает, кто, как и сколько им платит. Он даже не знает, во сколько обходится государству содержание его самого и его семьи, включая питание, жилище, расходы на транспорт, на топливо, на ремонт. Не знает и, в общем, не стремится узнать, во сколько обходится жизнь средней руки литератора в советской стране, да и его собственная жизнь. Он был бы очень удивлён и не поверил бы, если бы ему сказали, что он обходится государству в 30–40 раз дороже, чем средний литератор с семьёй в четверть человека. Притом литератор за всё платит сам, а у него всё оплачено из государственного кармана.

Между ним и его бесчисленной обслугой, включая охрану, шоферов, истопников, ремонтников, поваров, кухонных рабочих, по сути, самыми близкими людьми, образовалась некая зона отчуждения, пустота. Такая же зона непонимания возникла и в отношениях с коллегами. Её не было, когда он жил в Сорренто и за всё платил сам.

Уходя, новая незнакомка, маленькая, мягкая, круглая, ловкая, чем-то похожая на Дуняшу Стрешневу из “Клима Самгина”, доверчиво взглянула на Горького. В её ярких, крупных, слегка подкрашенных глазах промелькнули откровенное любопытство, заинтересованность и неподдельная, простодушная, почти детская радость. Проживёт она месяц-другой в его доме, и всё это в её взоре может поблекнуть, пропасть.

Алексею Максимовичу вдруг захотелось узнать, как и зачем оказалась эта обаятельная рыжеволосая девчушка здесь? Он попытался было остановить её, но Олимпиада Дмитриевна повела оплывшим сиреневым плечом и закрыла собою гладко причёсанную головку.

Горькому стало не по себе, тоскливо. По правде говоря, он не смог бы объяснить, зачем понадобилась ему эта женщина. То ли затем, чтобы общением с ней заполнить пугающую его душевную пустоту, то ли в присутствии Липочки захотелось ему пококетничать с девчонкой и лишний раз позлить свою верную подругу, то ли, скорее всего, оттянуть предстоящую встречу с “Климом Самгиным”? За двенадцать последних лет этот тип так ему надоел, что, будь он во плоти, Алексей Максимович колотил бы его палкой, кусал и рвал на части.

Старый писатель тяжело вздохнул, отвернулся от двери и, прихрамывая сильнее, чем обычно, направился в дальний угол кабинета к столу, где среди газет и журналов лежал архив “Жизни Клим Самгина”. Надо было его разобрать, переосмыслить. Без этого не сдвинуть зашедшее в тупик повествование.

Ещё в марте Горький оставил своего Клим в коридорах Таврического дворца. Впереди – Февральская революция, свержение царя, Временное правительство, выборы в Учредительное собрание, приезд Ленина, Октябрьский переворот и прочие знаменательные события, а он как не знал, так и не знает, что дальше писать, что делать с Климом и с самим романом.

В то время у него в Тессели гостили Павленко, Шторм и Сперанский. С Петром Андреевичем о своих творческих затруднениях откровенничать он не стал, а Шторму и Сперанскому кое-что прочёл из последних разделов романа и тут же пожалел об этом. Сперанский отчуждённо молчал, а Шторм, захлебываясь в потоке слов, болтал без умолку. Всё ему казалось интересным и значимым, даже то, как толпа затискала в коридоры дворца героя романа. Он даже привел афоризм: “Я не плыву, меня несёт”, – только не мог припомнить, кому из русских писателей он принадлежит: Ремизову или Розанову.

Замысел “Жизни Клим Самгина” зародился у Горького после первой русской революции, однако приступил он к его исполнению лишь весной 1925 года, после написания “Дела Артамоновых”, и извещил об этом Е. П. Пешкову, С. Цвейга, Р. Роллана, М. М. Пришвина, В. В. Вересаева, К. А. Федина, М. Ф. Андрееву, Ф. В. Гладкова, С. Ф. Ольденбурга, А. Е. Богдановича, В. Я. Шишкова и других.

“Пишу роман”, – сообщил А. М. Горький из Сорренто Е. П. Пешковой 14 марта 1925 года. На другой день – Стефану Цвейгу: “В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя”. Через два месяца, 14 мая, тому же адресату:

“... очень поглощён работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции. Это будет, как мне кажется, нечто чрезвычайно азиатское по разнообразию оттенков, пропитанное европейскими влияниями, отражёнными в психологии, умонастроении совершенно русском, богатым как страданиями реальными, так, в равной мере, и страданиями воображаемыми. Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня”.

3 июня – К. Федину:

“Роман я не написал, а – пишу. Долго буду писать, год и больше, это будет вещь громоздкая и, кажется, не роман, а хроника, 80-е – 1918 [годы]. Не уверен, что справлюсь. Тема – интересная: люди, которые выдумали себя”.

13 июля – М. Ф. Андреевой:

“Я, друг мой, – романище пишу, и он у меня разъезжается листов на сорок. Беда! Напишу – поеду в Россию. Обязательно!”

Замыслы своих произведений Горький, как правило, вынашивал долго, но исполнял с поразительной быстротой. “Мои университеты” им были написаны за три месяца, “Отшельник” – за считанные недели, а на создание “Дела Артамоновых” ушло немногим более полугода. Короткими были пути его произведений и к читателю, русскому и зарубежному. Горький – самый динамичный русский писатель XX века и самый читаемый, по крайней мере, до тех пор, пока он не взялся за “Клим Самгина”.

Из письма к Стефану Цвейгу и по некоторым другим материалам можно заключить, что “Жизнь Клим Самгина” Горький рассматривал как главную книгу своей жизни, в которой намеревался сказать своё последнее и, может

быть, самое веское слово. Как и полагается патриарху, наследнику Толстого, Достоевского и Чехова, он хотел возвратиться в Россию не с пустыми руками, а с грандиозным эпическим полотном, равным “Войне и миру”.

Будучи осведомлённым в литературных делах, он знал, что не только в России, но и в европейской литературе тех лет была заметна тяга к созданию крупных эпических полотен. В письме к В. В. Каменскому, одному из зачинателей русского футуризма, в мае 1926 года он писал, что знает “человек десять литераторов, работающих над романами, и сам тоже увлечен построением огромнейшего”. Не было у Горького сомнений и в выборе идеологического направления своего будущего произведения, его, так сказать, содержательного начала. Оно, в общих чертах, сводилось к двум позициям: а) к “разоблачению” интеллигенции (“Напишу такое, что они проклянут меня навсегда и во веки веков”); б) к “оправданию” большевиков (“На всем протяжении романа показываю, как формировалась большевистская идея”).

Алексей Максимович работал над “Климом Самгиным” исключительно интенсивно. К весне 1926 года он написал огромное произведение под тридцать печатных листов, по объёму – два “Дела Артамоновых”, даже несколько больше. Оказалось, однако, что это всего лишь треть необходимого объёма. Для завершения замысла необходимо, по меньшей мере, как он тогда полагал, ещё два тома. Такого обескураживающего просчета с Горьким до сих пор не случалось. “Клим Самгин” становился неуправляемым.

М. Горький 23 марта 1926 года жалуется А. К. Воронскому:

“Роман сводит меня с ума, работаю по 10 часов в день, а достиг ещё только Всероссийского тор{гово}-про{мышленного} съезда и Всерос{сийской} выставки в Н. Новгороде”. Описанием выставки и обрывается первая часть повести.

Потом Горький часто будет жаловаться и на роман, и на героя, и на самого себя, но не только и не столько собратьям по перу и близким людям, а – самому себе. Перебирая бумаги, он наткнулся на одну из таких жалоб тех лет. В ней говорилось:

“Бывают дни, когда всё кажется отвратительным, всё: цветы, стулья, люди, солнце. И отвратителен – сам себе – человек, вот этот, который пишет, – я. Отвратителен своим ощущением бессилия преодолеть самого себя”.

Но особенно Горького мучила рутинная работа по доводке и оформлению рукописи. Его и сейчас пробирает озноб, стоит вспомнить лишь, как перебеливал он черновые варианты рукописи “Клима Самгина” (до четырех раз!), как перепечатывались беловики на машинке для издательств в Берлине, в Москве и типографии Шаммера в Лейпциге, как постоянно ломалась пишущая машинка, куда-то уезжала Мура, нервничал Максим, бунтовали корректоры против авторского произвола в расстановке знаков препинания, как было много ошибок, опусок в именах (их сотни), в фактах и деталях (их тысячи), и не только машинисток, наборщиков, корректоров, редакторов, но и самого автора. Горькому до сих пор стыдно вспоминать, как он настаивал, что Медный Всадник стирает руку не на север, а на запад, и перепутал Ангела с венком перед Троицким собором в Петербурге с Ангелом с крестом на Александровской колонне.

Сложность заключалась ещё и в том, что по существовавшим тогда правилам выход произведения в СССР раньше, чем за границей, лишал Горького авторских прав на зарубежные издания. Это обстоятельство вносило дополнительные хлопоты и неудобства.

Московские редакторы газет и журналов охотились за горьковскими рукописями, рвали их из рук Крючкова, печатали отрывки романа под разными названиями: то “Сорок лет” с подзаголовком: “Трилогия. Часть 1. Жизнь Клима Самгина” (“Правда”, “Известия”), то “Жизнь Клима Самгина” с пометкой: “из романа “Сорок лет” (альманах “Круг”); то просто: “Жизнь Клима Самгина. Повесть”. Этот разноречивый вносил путаницу на пути произведения к читателю. Да и публикация его кусками не способствовала цельности восприятия.

К сказанному следует добавить спешку в подготовке книги, невысокое полиграфическое качество, особенно берлинского издания. Это беспокоило Алексея Максимовича, расстраивало его. Тем не менее, он сделал всё, что в его силах, чтобы книга как можно скорее дошла до читателя, и сам послал её в Россию и другие страны людям, мнением которых дорожит: Р. Роллану,

С. Цвейгу, С. Н. Сергееву-Ценскому и многим другим. Сергееву-Ценскому он пишет 6 августа 1927 из Сорренто:

“Посылаю Вам берлинское издание “Сорока лет”. Хотя Вы и похвалили отрывки этой хроники, но в целом она, я думаю, не понравится Вам. В сущности, это книга о невольниках жизни, о бунтарях поневоле и ещё по какому-то мотиву, неясному мне, пожалуй. Вероятно, “неясность” эта плохо отразится на книге. Ну, ладно!”.

Однако Сергееву-Ценскому книга пришлась по душе. 7 сентября Горький отправляет ему благодарственное письмо:

“Очень взволнован, радостно взволнован Вашей оценкой “Самгина”. Оценка, пожалуй, слишком лестная. Хотелось бы знать — какие недостатки видите Вы в книге этой? Напишите, буду очень благодарен. Вам, старому художнику, я верю”.

Но не только недочёты первой части волнуют Алексея Максимовича, тревожит его и судьба второй книги “Самгина”.

“Боюсь за второй том, — признаётся он Сергееву-Ценскому в том же письме, — давит меня обилие материала “идейного”, то есть словесного и жанрового. Боюсь перегрузить книгу анекдотом, который суть кирпич русской истории, и афоризмом, в коем сосредоточена наша мудрость” (т. 30. С. 33).

Надо признать, что опасения Алексея Максимовича вполне основательны, особенно если учесть его давнее пристрастие к афоризмам. Написав первую часть “Клима Самгина”, он тотчас принимается за вторую, о чём 24 июня 1926 года извещает А. К. Воронского:

“Начинаю второй том — десятилетие 97-907 (. . .) Работа мелкая, трудная, не хочется пропускать ничего. Сижу за столом по десять часов в день”. Через месяц в письме к тому же адресату он уточняет хронологические рамки второй части: “Сейчас пишу 97-й — 906 г., заканчиваю Московским восстанием. Работа анафемски трудная, требующая напряжения всех сил и покоя. . .”

Алексей Максимович трудится над вторым томом не менее, а, пожалуй, даже более интенсивно, чем над первым, ничего другого писать не хочет и не может. Из-за “Клима Самгина” он откладывает любые дела, в том числе и поездку на родину.

“Много любопытного на Руси, и очень хочется пощупать всё это, — пишет он Всеволоду Иванову в сентябре 1926 года. — Но — увяз я в романе и раньше, чем кончу его, не увижу Русь”.

Закончить вторую часть “Жизни Клима Самгина” Алексей Максимович намеревался к осени 1927 года, памятуя, между прочим, что не за горами его шестидесятилетие. К тому же он знал, что находится на примете у распорядителей Нобелевского комитета. Правда, кроме его кандидатуры на премию обсуждались и другие: Бунина, Мережковского и Шмелёва. Но без ложной скромности он считал себя и являлся в действительности одним из ведущих писателей не только русской, но и мировой литературы.

Это не значит, что он был доволен собой, своими произведениями. Напротив, к себе он относился критически. “Сорвался я с “Фомой”, — скажет он о “Фоме Гордееве”. “Челкаш” для него, если ему поверить на слово, — “рассказ топорный”. О “Песне о Буревестнике”, “Матери” и говорить не приходится: художественные достоинства этих вещей Горький ценил невысоко.

После каприйского периода у него был новый творческий взлёт — соррентийский. Он написал не только “Дело Артамоновых”, “Мои университеты”, любимый рассказ Пришвина “Отшельник”, “Заметки из дневника. Воспоминания”, дюжины две рассказов, подобных “Голубой жизни”, но всё собою не доволен. В письме А. Е. Богдановичу, отцу белорусского поэта Богдановича (август 1925), он признаётся, что к себе относится всё более недоверчиво, скептически: “ибо хотя пишу много, с жаром — вижу: всё не то, не так”.

Ещё раньше примерно то же самое он высказывал австрийскому писателю Стефану Цвейгу:

“... Моё личное мнение о самом себе таково: я ещё не совершил того, что бы мог совершить, и возможно, что я больше этого не совершу. В общем — я не пристрастен к Горькому, совсем нет! — и не ослеплён в этом отношении к нему”.

Сказано это было С. Цвейгу, как и А. Е. Богдановичу, в связи с работой над “Жизнью Клима Самгина”.

Дело, разумеется, не в премии, хотя бы и Нобелевской, и не в юбилее. Горький прошёл испытание славой. Но вот как, где, с кем и чем жить — это проблема. Реально, практически, в то время она сводилась к тому, оставаться ли ему за границей или возвращаться на родину, в Россию, в СССР? Он пережил много иллюзий, не раз расплачивался за ошибки, не хотел ошибаться на старости лет и не лукавил, когда задумал “Самгина” как панихиду русской интеллигенции. Был он искренен и тогда, когда намеревался в романе показать формирование социалистической большевистской идеи. Однако при этом он надумал сделать то, чего раньше не было. Он решил в своем прощальном произведении дать жизни, действительности, раскрыться, точнее — самораскрыться предельно объективно, во всей своей сложности и противоречивости, свободно, без авторского вмешательства. Ему хотелось показать русскую жизнь за последние сорок лет широко и свободно, как она складывалась сама по себе, независимо от идеологии, большевистской или антибольшевистской. Жизнь как жизнь во всём своём богатстве и разнообразии. Конечно, думал он, идеологии разных мастей давят на людей невероятно, но живые глубинные силы, в конце концов, найдут путь к истинной красоте и правде.

В самом приблизительном виде, туманно, эту фундаментальную мысль он высказал еще в 1893 году Екатерине Дмитриевне Кусковой на нижегородском Откосе:

— Хватит вам Маркса сосать. Слушайте соловьёв. Много больше душе говорят.

Однако как ни старался Алексей Максимович, но завершил вторую часть “Клима Самгина” только к концу февраля 1928 года и сразу же известил об этом Крючкова:

“...к 20-му февраля получите всё, до конца, после чего я трижды перекувыркнусь от радости”...

В письме к Груздеву пошутил:

“Кончил второй том. Рад. Не знаю, обрадуется ли читатель. Следовало бы. А то напишу ещё том”.

В письме Крючкову содержалась важная подробность:

“Второй том растянулся так, что я буду печатать его лишь до похорон Баумана, а Московское восстание будет началом третьего (...). Оно уже написано, конечно. Работаю — бешено, часов по 14, не сходя с места”.

Вторая часть “Клима Самгина” и в самом деле “растянулась”. И без Московского восстания второй том по объёму — самый внушительный: почти три “Дела Артамоновых”. Алексей Максимович затратил на его написание не так уж много времени — менее двух лет.

Хотя вторая часть “Самгина” и не успеет выйти из печати к юбилею писателя (28 марта 1928 года), но к лету того же года её выпустит берлинское издательство “Книга”; она будет фрагментарно опубликована в майских — сентябрьских журналах “Нового мира” и “Красной нови” и через полгода выйдет отдельным изданием в Москве. Так закончится беспрецедентный в истории литературы писательский марафон.

Алексей Максимович за три года, не отрываясь от писательского стола, создал огромное эпическое полотно в 65 печатных листов (а если учесть описание Московского восстания, то и все 70) и довёл хронику духовной жизни России с 80-х годов до октября 1905 года, до описания похорон Баумана.

Однако по замыслу автора хроника должна завершиться 1918-м или даже 1919 годом — наступлением на Петербург генерала Юденича Николая Ивановича. Естественно, встал вопрос о завершении романа. Горький твёрдо решил написать третью, завершающую, как ему тогда представлялось, часть “Клима Самгина”, но приступил к реализации своего решения на сей раз не сразу. Он снял с себя тяжкий обет увидеть Русь только по окончании “Самгина” и в мае 1928 года, после семилетней разлуки, впервые отправился в СССР и пробыл на родине до октября.

Вплотную к работе над третьей частью романа Алексей Максимович приступил лишь к началу 1929 года. “Достиг бессонницы. Пишу 3-й том”, — сообщил Горький Крючкову 2 января 1929 года, но работу над романом ещё раз прервал из-за новой поездки по Советскому Союзу с мая по октябрь 1929 года. Прерывал он её и из-за разнообразной текущей работы. Тем не менее, к осени 1930 года третий том был доведён до конца. Его начало, представля-

ющее описание Московского восстания, опубликовано в первых четырёх книжках ленинградского журнала “Звезда”, а основной тираж из-за отсутствия бумаги вышел из печати к маю 1931 года.

Третья часть “Самгина” доставила Горькому много хлопот, но самая главная неожиданность заключалась вот в чём. Приступая к третьему тому, Горький твёрдо решил завершить им “Жизнь Клима Самгина”, но когда написал его, то, к удивлению своему, обнаружил, что до конца романа ему так же далеко, как и два года назад, после создания второй части.

Об этом своём конфузе он никому не сообщил, даже самым близким доверенным людям – Груздеву и Крючкову – и спешно принялся за четвёртый том, который по времени действия романа начинается с лета 1906 года, тогда как третья часть заканчивается событиями 1907 года или даже позже. Однако эта хронологическая путаница легко могла быть устранена при окончательном редактировании романа. Труднее с концом романа. Четвёртый том – на пределе, более тридцати листов, а остались нетронутыми наиглавнейшие события: Февральская революция, Октябрь и гражданская война. Впору задуматься над пятым томом, но где гарантия, что он приведёт к желанному концу?

Все эти вопросы волновали писателя, но он не находил на них ответов, не знал, с кем можно посоветоваться, и не мог справиться с “Климом Самгиным”, который пух, как на дрожжах, увеличивался в размерах до неприличия и своей тучностью уже отпугивал читателя.

Правда, Горький подбросил критикам мысль, что “Клим Самгин” – “роман для потомков”, чем вызвал язвительную усмешку Кусковой. Алексей Максимович и сам понимал, что у потомков будет не больше времени на чтение, чем у нынешних людей, и всерьёз задумался над коренной переработкой произведения. Он поделился этой идеей с Десницким, с Зазубриным и ещё кое с кем. “Самгин” – вещь, которую необходимо переделать с начала до конца”, – писал он В. Я. Зазубрину в августе 1931 года, а В. А. Десницкому не раз говорил, что повесть длинна, что в ней много лишнего, что она тяжела для широкого читателя, что следует дать “сокращенного” “Клима Самгина”. Но прежде чем сокращать, надо дописать четвёртую часть.

Алексей Максимович придвинул к себе рукопись последней части и только тут понял, как он устал.

Х

Конец романа

31 мая. Воскресенье. Горки.

Алексей Максимович встал раньше обычного в хорошем расположении духа, был весел и бодр. Умываясь, он что-то напевал, пускал мыльные пузыри через открытую дверь в коридор и шлёпнул Липочку по мягкому месту, когда она попыталась урезонить шалуна. Позавтракав, он не стал терять времени и отправился работать. Чисто прибранный и хорошо проветренный кабинет принял хозяина радушно. В лучах утреннего солнца старинный паркет блестел, мебель светилась, а Больнушка то ли жмурилась, то ли улыбалась в своей белоснежной постели.

Накануне перед сном Алексей Максимович перелистал трехтомник “Самгина”, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню, и неожиданно для себя увлёкся чтением. Кроме Анфимьевны, ему нравился образ Марины Зотовой, а описанием некоторых бытовых и психологических подробностей он даже любовался. Вернулась уверенность, что, в конце концов, удастся справиться и с последней, четвёртой частью романа, работа над которой до неприличия затянулась. С этой надеждой Алексей Максимович уснул, не покинула она его и сейчас.

Когда вышел из печати трехтомник “Самгина”, общий тон советской критики по отношению к нему стал меняться. Заговорили о “Климе Самгине” как о синтезе всего творческого и жизненного пути Горького, как о “социальной эпопее”, главного героя приняли за настоящее художественное открытие пролетарского писателя. Луначарский увидел в “Климе Самгине” “замечательный эпос”, “летопись сорока замечательных лет истории нашего общества”, “дви-

жущуюся панораму десятилетий”. “Я считаю это произведение, – писал он, – одним из самых замечательных произведений нашей литературы и вместе с тем литературы мировой...” Он считал его партийным, пролетарским и потому истинным, объективным. “Правда, – оговаривался критик, – роман обращен на недавнее прошлое, а не на настоящее, но он показывает, как там подготовлялось крушение целого ряда общественных сил и как там прорастало железное семя большевизма”.

Анатолий Васильевич выдвинул идею так называемого “двоецентриа” “Жизни Клима Самгина”, связанную, с одной стороны, с изображением народа, его движением к большевизму, с другой – с самим Климом Самгиным как буржуазным интеллигентом-индивидуалистом. Эта идея на десятилетия предопределила интерпретацию “Жизни Клима Самгина” и помогла исследователям сказать много лестного об этом произведении, но она не устранила некую преграду, возникшую между романом и широким читателем. Читать “Жизнь Клима Самгина” будут мало.

Горький предчувствовал это и ещё в конце 20-х годов писал Крючкову и Груздеву, что старикам книга не понравится, а молодые не поймут её. Но особенно полно он выскажется на этот счёт в беседе с Валентиной Ходасевич:

“Сначала этот роман никто не поймёт, будут ругать, да уже и ругают. Лет через пятнадцать кое-кто начнёт смеяться, в чём суть, через двадцать пять – академики рассердятся, а через пятьдесят будут говорить: “Был такой писатель Максим Горький – очень много написал, и всё очень плохо, а если что и осталось от него, так это роман “Жизнь Клима Самгина”. И Алексей Максимович сказал, что вот к мнению этих последних он и присоединяется”.

Валентина Михайловна обнаруживает эти слова в третьей книжке журнала “Новый мир” за 1968 год, к столетию со дня рождения писателя. В те же времена, когда шла работа над четвёртой частью романа, Алексей Максимович мало и неохотно говорил о своём произведении и не спешил, как раньше, публиковать его. Четвёртая часть романа, если не считать фрагмента о Бердникове, при жизни автора не печаталась. Ромен Роллан – один из немногих, с кем Горький тогда поделился своим мнением о “Самгине”. В письме из Сорренто от 30 января 1933 года Горький писал ему:

“Дорогой мой друг,
посылаю Вам “Самгина” (трехтомное издание ГИХЛ, М.-Л., 1932. – И. К.), это – всё, что издано, остальное, листов десять, не решаюсь печатать. Как видите, внешность книг ужасна...”

Отнюдь не рисуясь перед Вами, скажу совершенно искренно, что бесконечная эта история попыток человека освободить себя от нашей действительности, не изменяя её иначе, как словами, – история эта написана мною крайне тяжело, скучно, и вообще – плохо. Но, кажется, у меня уже не хватит времени исправить её, сделать лучше, старость – плохая подруга в работе, а стареть я начинаю весьма успешно. Поверьте, что я не хвастаюсь этим”.

Горький и в самом деле не хвастался, а сообщал другу святую правду: сил на коренную переработку романа у него оставалось мало. Похвалился Алексей Максимович другим: литературной родословной своего героя. Отметив в том же письме меткость суждений французского коллеги о Климе Самгине как о человеке выдуманном и выдумавшем самого себя, Горький без ложной скромности устанавливает его родство, как он пишет, – “с некоторыми из героев европейской литературы 19-го века, начиная с Жюльена Сореля, продолжая “Вертером” Гёте, “Сыном века” А. Де-Мюссе, “Учеником” Бурже, героем романа Сенкевича “Без догмата” и прочими”.

Алексей Максимович, наверное, не стал бы возражать, если бы к этому впечатляющему перечню литературных предшественников Самгина был бы причислен и главный герой знаменитого десятитомного романа-эпопеи “Жан-Кристоф” самого Романа Роллана. Он был бы счастлив, если бы это сделал сам Роллан. Надо признать, что как ни критиковал “Самгина” Алексей Максимович, как ни ворчал на него, он любил своё детище, жил им, считал его самым значительным своим творением. Он знал ему цену.

Однако чем глубже погружался Алексей Максимович в рукопись четвёртой части “Самгина”, после письма Роллану распухшую чуть ли не втрое, тем тяжелее, тревожнее становилось на душе. Та уверенность в себе, которую он обрёл вчера, перелистывая “Самгина”, куда-то уходила из него, таяла, испарялась. В голову лезли мысли, порождающие сомнение в правильности того

пути, по которому с некоторых пор пошло повествование. Случилось это как-то само собой, непреднамеренно, без авторского умысла, по причинам, которые трудно объяснить.

Когда Алексей Максимович приступал к работе над “Самгиным”, он думал, что нащупал под ногами незыблемую эстетическую почву, и дал себе твердое обещание не поддаваться никаким иллюзиям, писать правду и только правду. Он говорил: “...никто не выдумывает меньше меня”, — и не лукавил, обещая изобразить в “Самгине” все “ходьнки”, “все гекатомбы, принесённые нами в жертву истории”.

Ясна была и жанровая природа произведения: это будет, — подчеркивал он не раз, — “нечто подобное хронике, а не роман”. В соответствии с хроникально-историческим, эпопейным замыслом произведения автор даст ему предельно простое, незатейливое название: “Сорок лет”. Потом он сменит его на “Жизнь Клима Самгина”, а первоначальное название перенесёт в подзаголовок. Под названием “Жизнь Клима Самгина” с подзаголовком “Сорок лет” выйдут все части этого произведения, включая и последнюю.

Сорок лет, облюбленные Горьким для изображения, можно с известной долей условности разделить на три этапа, три круга исторически восходящей спирали: 80-е — 1906 годы, 1907 — начало 1917-го и, наконец, 1917—1919 годы. Последний круг — ключевой, включающий в себя события всемирно-исторического значения: Февральскую революцию, Октябрь и две войны — первую мировую и гражданскую. В них скрыты ответы на многие роковые вопросы XX века, в том числе и на вопрос о роли интеллигенции в русской революции.

Как *Буревестник революции*, её непосредственный свидетель и участник, Горький отдавал себе отчёт о той ответственности, которую он брал на себя перед читателем. В беседе с полпредом СССР в Италии Д. И. Курским он признавался:

“Я не могу не писать “Жизнь Клима Самгина”. У меня накопился фантастически обширный материал, он властно требует, чтобы я объединил его, обработал. Я не имею права умирать, пока не сделаю этого”.

Приступая к созданию “Клима Самгина”, Горький намеревался чуть ли не через год его закончить. Но в ходе работы конец произведения отдалялся от Алексея Максимовича, как горизонт от усталого путника. Так появились вторая, третья и четвёртая части романа. Только в последней части Горький вплотную приблизится к описанию событий 1917 года, но успеет лишь чуть-чуть приподнять завесу над Февральской революцией. Случится то, чего так боялся художник: он боялся умереть раньше, чем будет дописан роман. Только в то прекрасное утро ничто не говорило автору “Жизни Клима Самгина” о приближении его собственной кончины.

Алексей Максимович знал, что конец эпического произведения, как, впрочем, и его начало — вечная проблема этого жанра. С рождением героя, как правило, связывается начало произведения, а со смертью — его конец. Выбор имени герою — примечательный, оригинальный зачин “Самгина”, не лишенный символического смысла, но вот каков будет финал, до сих пор автору не было известно. Горький не знал, чем кончит его герой: то ли погибнет от удара солдатским сапогом, как это изображено в одном из черновых набросков к повести, то ли покончит самоубийством, то ли останется жив.

Ещё труднее предугадать поведение героя в 1917—1919 годах. Можно предположить, что Клим Самгин, как и в своё время и автор романа, примет Февраль, но вот как он отнесётся к Октябрьскому перевороту и к Советской власти, не попытается ли эмигрировать за границу? Все это может выясниться только в процессе создания заключительной части эпопеи, которой ещё нет и неизвестно, будет ли, суждено ли Алексею Максимовичу к ней приступить.

Начиная работу над “Жизнью Клима Самгина”, Горький опрометчиво пообещал читателям “разоблачить интеллигенцию” (“Напишу такое, что они проклянут меня навсегда и во веки веков” — *Прожектор*, 1928, № 17. С. 18) и “оправдать большевиков” (“На всем протяжении романа показываю, как формировались большевистские идеи” — *Красная газета*, веч. вып., 1925, № 136). Однако в процессе создания “Жизни Клима Самгина” это обещание как-то само собой отошло на второй или третий план, потеряло остроту, стёрлось. Не сказалось здесь ничего такого особенно обидного о русской интеллигенции, о её роли в революции, чего она сама не поведала бы о себе устами пресловутых “веховцев”. Не показал он должным образом и процесс формиро-

вания большевистской идеи. Луначарский явно преувеличивал, когда утверждал, что в “Жизни Клина Самгина” якобы нашёл отражение процесс прорастания “железного семени большевизма”. Точнее, Луначарский отметил не столько то, что в романе было, сколько то, что там, по его представлению, должно было бы быть. Между тем большевики, в том числе и Кутузов, показаны в повести схематично, только с той стороны, которая была доступна Самгину, – со стороны преимущественно отрицательной. Негативные, неприглядные, разрушительные черты революционного движения в России, связанные с жестокостью, насилием, терроризмом народовольцев, нечаевцев, анархистов, эсеров, кадетов, да и самих большевиков, отражены в романе с “обжигающей беспристрастностью” (Роллан), правдивостью и остротой.

“Странное дело, – размышлял Алексей Максимович, кружа по кабинету, – какое-нибудь ничем не примечательное высказывание, вроде того, что “если враг не сдаётся – его уничтожают” (а как же по-иному?), способно вызвать бурю эмоций”. Но вот выдвинутые им небезынтересные идеи, на его взгляд, не привлекли внимания ни критики, ни кремлёвских идеологов. Впрочем, из идеологов только Щербаков упомянул “Самгина” в одном из своих писем к нему, к Горькому, и поставил его в ряд лучших произведений советской литературы. Алексей Максимович принял эту весть за добрый знак из высших сфер власти. Но, может быть, это лишь личное суждение?

“Клима Самгина” Горький задумал давно, как своего рода современный вариант “Дон-Кихота”, как произведение, которое можно было бы положить в Судный День как оправдание своей жизни перед Богом и людьми. Он уже не помнит те случаи в своей жизни, которые послужили первоначальным толчком к этому замыслу, кроме, пожалуй, встречи на его глазах двух миллионов, двух воротил – Саввы Морозова и нижегородского “удельного князя” Бугрова в Нижнем Новгороде, у Тестова, задолго до Московского восстания.

На участливый вопрос Бугрова:

– Ты что, Савва? Али плохо живёшь? На фабрике неладно? – Морозов, круто повернувшись к собеседнику, не скрывая раздражения, грубовато ответил: – У нас везде неладно: на фабриках, на мельницах, и особенно – в ловах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о некультурности промышленников, о законности требований рабочих и неизбежности революции. Особенно он боялся, что революция возникнет раньше времени.

– Разгорится она преждевременно, сил для неё – нет, и будет чепуха!

Савва был недоволен рабочими, но Бугров возразил:

– Народ у нас – хороший. С огнём в душе. Его дешёво не купишь, пустяками не соблазнишь... И я тебе скажу – очень умно понимают люди жизнь. Может, не своим умом, а – научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот Горький хорошо знает эти дела. Деньги берёт у меня на листочки. Я – даю...

Оба собеседника понимали, что революция – против них, но сочувствовали ей. Бугров связывал с ней соблазн сбросить с себя хомут повседневных забот, обрести некую святость, праведность, а Савва, напротив, относился к ней скептически, опасался её.

Тяжёлый разговор не получился, оборвался, оба молчали, а у Горького он вызвал странное ощущение: как будто в рот и в мозг ему потоки налили...

Савва Морозов примкнёт к революции, к большевикам и в 1905 году покончит с собой. Н. А. Бугров удержится от соблазна, переживёт Савву лет на пять и с почестями будет похоронен в родном городе.

А у Горького гвоздём засядет мысль о невольниках революции. Он и сам окажется в какой-то мере таким же невольником, прочно свяжет себя с революцией, станет её глашатаем, примет участие в Московском вооружённом восстании, скроется на долгие годы за границу от преследования властей за это участие и вернётся в Россию только к концу 1913 года в связи с амнистией по случаю трехсотлетия Дома Романовых. Он поселится на Кронверкском проспекте в Петербурге, встретит здесь известие о начале первой мировой войны, горячо поздравит русский народ с Февральской революцией, резко осудит Ленина и большевиков за Октябрьский переворот, потом, после покушения на вождя пролетариата, примирится и с ним, и с советской властью и в октябре 1921 года вновь уедет за рубеж.

К этому времени рухнут надежды на мировую революцию. Гражданская война, интервенция, хозяйственная разруха, нэп, смерть Ленина, экономические трудности, внутрипартийные распри наследников вождя, постоянная угроза извне, жёсткая политика по отношению к интеллигенции, священнослужителям, зажиточным мужикам и прочим “врагам народа” осложняли и без того трудное дело строительства социализма. С новой силой встанет вопрос о судьбе революции, России, о её настоящем и будущем.

Едва закончив “Дело Артамоновых”, А. М. Горький берётся за свой давний замысел написать предельно объективную, правдивую повесть о русской революции, в которой сам принимал активное участие. Ради убедительности и беспристрастности в качестве главного действующего лица он выбирает не автора-повествователя, не героя-революционера, вымышленного или исторического, а — Клим Самгина, человека средних способностей из интеллигентной революционной семьи, не связанного, однако, ни с народниками, ни с большевиками, ни с меньшевиками, эсерами или кадетами, человека, Горькому чуждого и “чужого”, индивидуалиста, с невольнической психологией и “двойным зрением”, но по-своему порядочного, честного, начитанного и наблюдательного.

Судя по проказам Самгина-гимназиста, изображённым в начальной главе повести (выдача Инокова инспектору, подлое оскорбление Бориса Варавки и проч.), Алексей Максимович намеревался через будущего главного героя разоблачить ренегатство русской интеллигенции, но, видимо, отказался от своего намерения и наделил Клим Самгина такими полномочиями, каких не имел, пожалуй, ни один персонаж в русской литературе. Без его участия или присутствия не совершится ни одного события, ни одного разговора, описанного в произведении. Он — единственный, кто показан изнутри: что и как чувствует, думает, говорит и делает; все другие — только как говорят и действуют. Через его сознание и оценку пройдут все восемьсот персонажей романа! Его перемещения во времени и пространстве составят основную и единственную сюжетную линию романа-эпопеи, которая развивается как бы самопроизвольно, без видимого участия автора-повествователя.

Образ автора-повествователя дан в романе не как реальное лицо, а как его вездесущий дух. Автор незримо присутствует в произведении, не оставляет без внимания Самгина ни на минуту, однако не вмешивается в его поступки и дела, не поучает и не направляет его, как, впрочем, и всех других действующих лиц, но высвечивает его поведение, его точку зрения и взгляды на других героев, на происходящее своим особым, всё понимающим авторским видением действительности.

Сопоставление, совмещение точки зрения Самгина и других персонажей с авторским видением происходящего создаёт иллюзию зримой, физически ощутимой, многомерной и многоликой картины духовной жизни русского общества накануне грандиозных событий семнадцатого года. Однако эта картина сама по себе ещё не содержит окончательного ответа на вопросы: *кто виноват? и что делать?* Она ждёт этого ответа от некоего третьего лица, и имя ему — мыслящий читатель. В конечном счёте, за ним, а не за героями повести и даже не за автором последнее слово. Разумеется, может ошибиться и читатель. Но только на пересечении этих трёх точек зрения, трех видений: автора, героя, читателя — и может явиться живая истина.

В “Жизни Клим Самгина” Алексей Максимович представлен не только как автор-повествователь, но и как реальное историческое лицо, создатель пьесы “На дне”, участник событий. Он дан в ряду других героев, таких, как Леонид Андреев, Шалапин, дан иногда в нарочито ироническом плане. Это не соответствует действительной роли Горького в русском и мировом литературном процессе тех лет. В этих конкретных случаях шаржируется отношение русской либеральной критики к Горькому, как к писателю “конченному”. В целом же этот персонаж высвечивает и оттеняет образ автора-повествователя, имеющего в “Самгине” исключительное значение для выявления многомерных и многозначных философских смыслов произведения. Одним из таких смыслов в “Жизни Клим Самгина” стал вопрос о движущей силе истории вообще и русской революции, в частности и в особенности.

Клим Самгин по наследству получил от отца и деда излюбленную народническую идею о герое и толпе, состоящей из раздетых, разутых, голодных и обездоленных мужиков, которых следует пробудить и повести за собой

к лучшей счастливой райской жизни. Марксистски мыслящие интеллигенты, вроде Кутузова, ставку делали на неимущего пролетария, которому нечего было терять, кроме собственных цепей. Бесконечные споры ни к чему не приводили, пока Клима сама жизнь не натолкнула на простую мысль о единении всех сословных, национальных сил. Эта мысль шла к Климу Самгину долго, с трудом пробиваясь через индивидуалистические предрассудки его сознания, пока под звон московских колоколов не проникла в сердце героя. Случилось это в ночь на Пасху, за год до Московского восстания, когда Клим с женой в густой толпе москвичей ждали вести о Воскресении Христа.

Алексей Максимович вспомнил, как ещё в начале работы над “Самгиным”, описывая пасхальную ночь, он совсем забыл про колокольный звон. Потом он исправил этот непростительный промах и захотел перечитать этот эпизод. Взяв второй том, он безошибочно нашёл нужную страницу.

“Из толпы вывернулся Митрофанов, зажав шапку под мышкой, держа в руках серебряные часы, встал рядом и сказал вполголоса, заикаясь:

– Сейчас ударят. Сейчас!

Приоткрыв рот, он вскинул голову, уставился выпученными глазами в небо, как мальчишка, очарованно наблюдающий полёт охотничьих голубей.

И вдруг с чёрного неба опрокинули огромную чашу густейшего медного звука, нелепо лопнуло что-то, как будто выстрел пушки, тишина взорвалась, во тьму влился свет, и стало видно улыбки радости, сияющие глаза, весь Кремль вспыхнул яркими огнями, торжественно и бурно поплыл над Москвой колокольный звон, а над толпой птицами затрепетали, крестясь, тысячи рук, на паперть собора вышло золотое духовенство, человек с горящей разноцветной головой осенил людей огненным крестом, и тысячеустый голос густо, потрясающе и убеждённо – трижды сказал:

– Воистину Воскресе.

– Христос Воскресе, – не сказал, а рывкнул Митрофанов, обняв Клима, целуя его...”

Алексей Максимович, в общем, остался доволен описанием колокольного звона, но подумал, что надо бы упомянуть о Храме Христа Спасителя, но как-то не упомянулось. На том месте, где стоял этот величественный храм, переглядываясь через Москву-реку с державным Кремлём, теперь зияла огромнейшая тёмная яма. Нынешние властители надумали водрузить здесь гигантский Дворец Советов с монументом Ильича невероятных размеров на его башне, с указующим перстом чуть ли не в два метра длиной.

Алексей Максимовичу припомнилось, сколько мучений он перенёс из-за Клима, его чёртового сердца. Думал Самгин много, но чувствовал скупо и неохотно. Однако в ту пасхальную ночь он точно очнулся, похристосовался с Варварой, порадовался за людей и взглянул на самого себя как бы со стороны.

“... Самгин не мог не подумать, – читал Алексей Максимович им самим когда-то написанное, – что раньше радость о Христе принималась им как смешное лицемерие, а вот сейчас он почему-то не чувствует ничего смешного и лицемерного, а даже и сам небывало растроган, обрадован. Оглядываясь, он видел, что всё страшное, подавляющее исчезло. Всюду ослепительно сверкали огни иллюминаций, внушительно гудел колокол Ивана Великого, и радостный звон всех церквей города не мог заглушить его торжественный голос. Всюду над Москвой, в небе, всё ещё густо-чёрном, вспыхнули и трепетали зарева, можно было думать, что сотни медных голосов наполняют воздух светом, а церкви поднялись из хаоса домов золотыми кораблями сказки”.

Под влиянием пережитого Клим передумал идти к патрону, куда пригласили его и жену разговляться, и предложил вернуться домой и захватить с собой Митрофанова. Варвара охотно согласилась. Семейный праздник удался, и Самгины устроили дома нечто вроде салона. По субботам приходили к ним люди, говорили о том, что Россия быстро богатеет, что купечество Островского почти вымерло и уже не заметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства, политики.

Самгин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец – с завистью чужой славе, но слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, о стачках рабочих, о том, как беднеет деревня, о бездарности чиновничества.

Перечитывая эти страницы своего романа, Алексей Максимович порадовался за Самгина. Особенно ему пришлось по душе, что его герой не расстроился от этих разговоров, а согласился с Татьяной Гогиной, девицей хотя и не очень умеющей говорить дерзости, но, тем не менее, говорившей их всегда и всем. В разгар спора она крикнула:

— А по-моему, все мы бездельники, лентяи и... жертвы общественного оживления. Вот кто мы!

Клим Самгин и сам стал понимать, что все эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают так называемое общественное оживление в стенах интеллигентских квартир, в пределах Москвы, а за её пределами тихо идёт нормальная трудовая жизнь простых людей. Москвичей же обуюла жадность.

О жадности столичных жителей толковал и Митрофанов. Алексей Максимович по привычке подчеркнул это место, точно он читал чужую книгу и видел эти слова впервые:

“Приходил Митрофанов, не спеша выпивал пять-шесть стаканов чаю, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал всё, что можно было съесть, и вносил успокоение.

— Что, не нашли ещё места? — спрашивала Варвара.

— Нет, — говорил он без печали, без досады. — Здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь, как пчела, — взятки любит, хоть гривенник, а — дай! Весьма жадный народ.

И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал:

— А чего ради жадность? Не по сту лет живём, всем хватит. Нет, Москва жадна. Не зря её Сибирь, хохлы и прочее население не любит. А вот, знаете, с татарами хорошо жить. Татарин — спокойный человек, ему Коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался — доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарское иго низвергли, большую пользу будто бы татары приносили нам как народ тихий, чистоплотный и не жадный. А Петр Великий навёз немцев, евреев, — у него даже будто бы министр еврей был, — и этот навозный народ испортил Москву жадностью”.

Слова Митрофанова подтвердит и Дронов, столкнувшись с московскими жуликами при продаже дома Варвары. Рассказав Самгину о диковинных фактах жульничества, он заключит:

“— ... Не брезглив я, не злой человек, а все-таки, будь моя власть, я бы половину московских жителей в Сибирь перевёз, в Якутию, в Камчатку, вообще — в глухие места. Пускай там, сукины дети, жрут друг друга — оттуда в Европу никакой вопль не долетит”.

Алексей Максимович невесело усмехнулся в усы, вдавил очередной окурок в пепельницу, зажёл от спички новую папиросу, подождал, пока спичка, обжигая пальцы, не догорит дотла, и тяжело поднялся из-за стола, чтобы размяться.

Но не успел Алексей Максимович сделать и одного круга по комнате, как услышал негромкий, вопросительный и какой-то особенно назойливый знакомый голосок. От неожиданности старый писатель даже присел на первый попавшийся стул и прикрыл глаза. Говорил давний знакомый — нижегородский черносотенец, монархист Бреев Василий Иванович. Не говорил, а выстреливал, точно из револьвера, вопрос за вопросом:

— А не поддались ли Вы, дорогой Алексей Максимович, влиянию “общественного оживления” и оттого не цените роль и значение национальной идеи общенародного единения?

— На каком основании в “Самгине” Александр II назван бездарным, а Александр III даже не упоминается, хотя при его недолгом правлении экономика России развивалась весьма успешно?

— В 1912 году исполнилось триста лет нижегородскому ополчению Минина и Пожарского и сто лет со дня победы над Наполеоном, но в вашем романе об этом, кажется, не сказано ни слова. Что за причина?

— Почему в “Жизни Клина Самгина” подробно говорится о поражении армии на Дальнем Востоке и на фронтах первой мировой войны, но умалчивается о балканской освободительной миссии и брусилковском прорыве?

Неприятный голосок умолк. Алексей Максимович зажмурился, ожидая, как этот суетливый человечек с ежовой и, наверное, давно поседевшей головой вот-вот схватит его за руку и, по-собачьи заглядывая в глаза, будет тре-

бовать немедленного ответа. Однако Бреев никак больше не проявлял себя. Горький осторожно приоткрыл глаза, оглянулся: никакого Василия Ивановича Бреева не было.

Алексей Максимович на эти и им подобные вопросы никому, особенно Брееву, не стал бы отвечать, но сам себе должен признаться, что определённая недооценка идеи народного единения в его взглядах на русскую историю имеет место. Это не его личная вина, а беда всей русской радикальной интеллигенции, всех революционеров, начиная с декабристов. К насилию прибегали едва ли не все партии и идейные направления, включая и марксистов, хотя теоретически они и осуждали его. Красный террор, объявленный большевиками после покушения на Ленина, гражданская война, развязанная то ли красными, то ли белыми, то ли теми и другими вместе, явились прямым следствием многовековой привычки разрешать социальные проблемы посредством грубой силы.

Горький не без оснований опасался, что если после смерти Ленина к власти прорвётся Троцкий, то он жестоко отомстит русскому народу за еврейские погромы. Однако и Сталин не побрезговал террором в борьбе с троцкистами и при проведении коллективизации, обосновав насилие обострением классовой борьбы при построении социализма. Хотя Горький и пытался удержать Сталина от излишне резких движений в сторону насилия и кое-чего, как ему казалось, добился, но иногда и сам поддавался этим агрессивным настроениям, особенно по отношению к кулаку и кулацким поэтам типа Павла Васильева.

Искусственное обострение классовой борьбы, искоренение кулачества как класса, разоблачение “врагов народа” усиливали напряжение в обществе и очень тревожили Алексея Максимовича, особенно перед угрозой фашистской агрессии, которую он ощущал почти физически. Он, конечно же, при переработке романа усилил бы внимание к идее национального, народного единения, в том числе и к тем ключевым историческим моментам, таким, как Куликовская битва, 1612-й, 1812 годы и другим событиям, где эта идея проявила себя самым ярким и естественным образом. Наверное, при переработке романа-эпопеи Горький отразил бы и тот подъём, который на первых порах, в августе 1914-го, охватил почти все слои населения.

Когда Горький приступал к художественному переосмыслению событий 1905 года и Московского восстания, он рассчитывал, что оно коренным образом скажется не только на судьбе Самгина, но и на судьбе революции и самого общества. Но его надежды не оправдались. Самгин не стал ближе к большевикам, а сама революция потерпела поражение. Все её наиболее активные участники оказались либо в тюрьмах, либо за рубежом. Горький и Ленин тоже эмигрировали за границу. Наступил бессобытийный период, период реакции, который Горький назвал самым позорным десятилетием в истории России, в истории русской интеллигенции. Встал вопрос об оценке революции. В рядах социал-демократов возникли принципиальные разногласия по этому поводу. Плеханов заявил: не надо было братья за оружие. Ленин возразил: нет, надо, но только ещё более решительно.

Горькому как создателю “Жизни Клима Самгина” ничего не оставалось, как путём ретроспекции подключиться к выяснению художественными средствами исторической роли первой русской революции 1905–1907 годов. Так наряду с идеей народного единения возник ещё один важный философский смысл “Самгина”, который, говоря попросту, сводился к вопросу о том, нужна ли была эта революция, не преждевременна ли она, чего так опасался в своё время Савва Морозов. Ждать от самого *Буревестника* отрицательного ответа, ответа в том смысле, что первая русская революция – преждевременна, исторически ошибочна, что не надо было братья за оружие и т. д. в этом духе, казалось бы, было делом бессмысленным, невероятным и невозможным. Его и не ждали ни кремлёвские идеологи, ни литературоведы и критики. Не ждал, может быть, и сам Горький. Но именно такой ответ получился, получился как бы сам собой, по логике развития действительности: революция 1905 года преждевременна, ошибочна.

Всё началось с того, что как только Горький приступил к изображению бессобытийных лет, последовавших за бурной революционной эпохой, повествование как бы само собой сместилось с событийно-эпической орбиты на романическую. Самгин из Москвы перебирается не на родину, не в Нижний

или Петербург, а в вымышленный Русьгород, где сразу же становится свидетелем покушения на местного губернатора. Губернатор хотя и был порядочным негодяем, но убили его заезжие террористы-революционеры, одного из них Самгин даже узнал. Сам Русьгород был более патриархален и провинциален, чем родной город Самгина, и совершенно не соответствовал новым веяниям. Скоро действие отсюда перенеслось в Берлин, Париж, Петербург, Москву, но первый романический узел завязался всё же здесь. Самгин стал присяжным поверенным Марины Зотовой, богатой вдовы, и одновременно кандидатом в её любовники или даже женихи. К старым, патриархальным связям, основанным на родстве, землячестве, дружбе, прибавились новые, личностные отношения и взаимная личная заинтересованность. Через Марину Самгин вошёл в мир промышленников и стяжателей и из свидетеля, наблюдателя, каким, по преимуществу, он всегда был, превратился в романического героя. В своём новом качестве Самгин сникнет и в интеллектуальном отношении уступит всем, с кем столкнётся по романному сюжету, будь то Марина Зотова, Бердников, Тагильский...

Неожиданное и таинственное убийство Марины и его расследование усложнят и обострят романическую ситуацию, но не затмят старый, эпический сюжет, связанный с революцией. Только примет он теперь сугубо теоретическое и идеологическое обличие, превратиться в спор о том, что такое революция и нужна ли она России и русскому народу? В эту дискуссию втянутся без исключения все действующие лица, ибо это будет самая животрепещущая тема, затрагивающая глубинные интересы всех членов общества. По сравнению с ней все другие, включая любовь, отодвинутся на второй план.

Революцию 1905 года многие герои “Самгина” встречали как желанную, а провозжали проклятиями, бранили марксизм, его основоположников; героев революции, вслед за Брюсовым, называли гуннами, а Ленина — Атиллою. Сам Клим Иванович будет утверждать, что революция — это трагедия, смерть, безумие, сделанное силами дикарей, какого и перед лицом врага не знало человечество. Иван Дронов вторит ему, утверждая, что Россия нуждается не в революции, а в эволюции, в реформах, а не в переворотах. Кажется, что в заключительной части романа нет человека, который бы выступил против такой оценки революции и революционеров и сказал: “Да что вы озорничаете?”

Между тем, на улицах Петрограда началась вторая революция: громят полицейские участки, горят окружной суд, Литовский замок. Автору-повествователю ничего не оставалось, как отправить Самгина и Дронова, этих издерганных и изверившихся людей, к Таврическому дворцу, так как, кроме них, ему послать туда было некого. Но будет ли вторая революция счастливее первой, а Октябрьская — второй?

Алексей Максимович в глубокой задумчивости долго ходил по кабинету, потом сел за стол и написал:

“Да, я устал, но это не усталость возраста, а результат непрерывного и длительного напряжения. “Самгин” ест меня. Никогда ещё я не чувствовал так глубоко ответственности своей перед действительностью, которую пытаюсь изобразить. Её огромность и хаотичность таковы, что иногда кажется: я схожу с ума”.

Алексее Максимовичу остаётся до смерти ещё 18 суток. Он проведёт их в страшных мучениях, не только физических, но и нравственных, и в один из последних дней продиктует Марии Игнатьевне Закревской-Будберг полные невыразимой горечи и боли слова:

“Конец романа. Конец героя. Конец автора”.

Ивану Кирилловичу Кузьмичеву — 90 лет!

Поздравляем нашего автора, ветерана Великой Отечественной войны, профессора Нижегородского государственного университета с этой выдающейся датой!